

4558.

134/2
I

ЯВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРОПУЩЕННЫЯ НАШЕЙ КРИТИКОЙ

ГРАФЪ Л. ТОЛСТОЙ И ЕГО СОЧИНЕНІЯ

- 1) ВОЕННЫЕ РАСКАЗЫ. 2) ДѢТСТВО И ОТРОЧЕСТВО. 3) ЮНОСТЬ, ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА. 4) ЗАПИСКИ МАРКЕРА. 5) МЕТЕЛЬ. 6) ДВА ГУСАРА. 7) ВСТРѢЧА ВЪ ОТГРЯДѢ. 8) ЛЮЦЕРНЪ. 9) АЛЬБЕРТЪ. 10) ТРИ СМЕРТИ. 11) СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

I

ОБЩІЙ ВЗГЛЯДЪ НА ОТНОШЕНІЯ СОВРЕМЕННОЙ КРИТИКИ КЪ ЛИТЕРАТУРѢ

Vox clamantis in deserto.

Напередъ увѣренъ, что и читатели «Времени», и пожалуй сама редакція журнала обвинять автора этой статьи въ самой отчаянной парадоксальности или по крайней мѣрѣ въ явно-неблагодарномъ желаніи уколоть почувствительнѣе нашу критику такимъ вопіющимъ фактомъ, что будтобы графъ Л. Толстой и его сочиненія принадлежать къ разряду «явленій современной литературы, пропущенныхъ нашею критикой».

А между тѣмъ ни парадоксальности въ мысли, ни злонамѣренности противъ критики нашей тутъ нѣтъ нисколько, а есть только настоящее дѣло.

Критика — скажутъ мнѣ — однакоже сразу замѣтила появленіе въ литературѣ автора «Военныхъ разсказовъ», «Дѣтства и отрочества»

Т. V II. — Отд. II.

1

2338



и проч.? Да еще бы ужь она и появленіа-то такого новаго, оригинальнаго, сразу явившагося съ «словомъ и властію» таланта не замѣтила!.. Она пожалуй даже «привѣтствовала» новый талантъ, какъ дѣйствительно новый, свѣжій и сильный, пожалуй «заявила» свое сочувствіе къ нему и проч...

Да вѣдь «привѣтствовать» и «заявлять сочувствіе» — дѣло весьма легкое, штука такъ-сказать казеннѣйшая изъ казенныхъ. Задача критики, если только она точно критика, не въ томъ только, чтобы «привѣтствовать» и «заявлять сочувствіе», хоть у насъ и это иногда — подвигъ похвальный, часто смѣлый, на который рѣдко кто рѣшится первый, но крайней мѣрѣ печатно: вѣдь это нето-что брань, къ которой мы замѣчательно привыкли, потому что она «на вороту не виснетъ». Чтобы заявить гласно сочувствіе къ явленію новому, къ которому сочувствія никѣмъ еще незаявлено, надобно имѣть много вѣры въ душѣ, — вѣры въ правду явленія и вѣры въ самого себя. Иное дѣло въ кружкахъ. Тутъ производство въ таланты и даже, съ позволенія сказать, въ геніи — подвигъ для насъ нисколько не трудный. Ото всего, что бы въ извѣстномъ кружкѣ, большомъ или маломъ, но все-таки кружкѣ, ни сказалось, или правильнѣе — ни сболтнулось, всегда очень возможно отступить, если талантъ дѣйствительно обманетъ надежды, или если кружку почему-либо покажется, что онъ обманулъ его, кружковыя, надежды...

Но задача критики, повторяю, не въ томъ только, чтобы привѣтствовать и заявлять сочувствіе. Дѣло критики — уловить и отмѣтить особенность, личность таланта, если особенность, личность проглядываютъ въ немъ. Либо вовсе недолжно быть литературной критики, либо въ этомъ именно, т. е. въ разъясненіи существа таланта, заключается ея прямая, настоящая и едва ли не единственная обязанность.

Задача критики бываетъ часто очень нелегкая, въ особенности по отношенію къ талантамъ, хотя и дѣйствительно оригинальнымъ, но отличающимся преимущественно своими внутренними силами, своей такъ-сказать виртуозностью, а не широтою, яркостью или общественнымъ значеніемъ концепцій.

О двухъ только родахъ литературныхъ явленій писать очень легко, а именно:

1) очень легко писать «серунду» (позвольте употребить это любимое, хотя нѣсколько халатное слово нашей современной критики) о вещахъ геніальныхъ, и

2) столь же легко умному человѣку писать очень умныя вещи о литературной «серундѣ». Сей послѣдней, т. е. литературной «серундѣ», я придаю объемъ довольно значительный и обширный. Въ область

ея «съ теченіемъ временъ» могутъ попасть не только такія вещи, какъ «Подводный камень» г. Авдѣева, но пожалуй даже и трети двѣ похожденій или лучше-сказать «полежаній» Обломова. *Conditio sine qua* поп — разумѣется въ томъ, чтобы ерунда или принадлежала человѣку все-таки даровитому и умѣющему ловко и наглядно ставить передъ глазами живущіе въ воздухѣ общественные и нравственные вопросы, или со всей дерзостью посредственности скакала за самыя крайнія грани общественныхъ и нравственныхъ вопросовъ.

Чувствуете ли вы, что напримѣръ о «Полинькѣ Саксъ», о «Подводномъ камнѣ» можно размахнуться гораздо задорнѣе, чѣмъ о «Семейномъ счастьи» Л. Толстого? Даже не только задорнѣе, а дѣйствительно горячѣе; если вы, какъ мыслитель честный, станете бороться съ животненностью парадокса, на которомъ основанъ «Подводный камень», или съ холодною ходульностью главной идеи «Полиньки Саксъ». Или вѣдь напримѣръ ни объ одной изъ простыхъ, живыхъ, воплощъ конкретныхъ женскихъ натуръ, созданныхъ Островскимъ, не напишете вы такого диамба, какимъ разразился нѣкогда г. Пальховскій по поводу изломанной «Ольги» г. Гончарова, въ «Московскомъ Вѣстникѣ». Вѣдь о тихой и простой драмѣ «Семейнаго счастья» или о женщинахъ Островскаго нужно говорить только то, что до самаго предмета касается, а напротивъ, о барышнѣ Ильинской или о герояхъ и о героинѣ «Подводнаго камня», что касается до нихъ самихъ — ровно говорить нечего: зато и о развитости женской натуры, и о свободѣ половыхъ отношеній (*за и противъ* — это какъ угодно *e sempre bene*) наговориться можно вдоволь, вразосъ, такъ-сказать «съ заскокомъ»...

Да-съ, мудреная вещь для критики живыя, органическія, художественныя произведенія!

Хорошо, скажу еще разъ, если рама ихъ широка, какъ рама историческихъ картинъ, если въ нихъ кипитъ и волнуется цѣлый новый міръ, бросаясь въ глаза каждому своимъ, хотя порою и «жестокими», но всегда типическими нравами, открывая повсюду самыя широкія перспективы. Тогда ничего, если вы даже и ошибетесь въ разгадкѣ намѣреній художника, въ пониманіи значенія этихъ перспективъ; ничего, если вы увлечетесь одной какой-либо рѣзкой стороной явленій раскрывающагося въ произведеніяхъ міра: вы, если вы человѣкъ истинно серьезный и серьезно даровитый, по поводу ихъ все-таки напишете блестящія статьи о «Темномъ царствѣ». Что за дѣло, что вы увлеклись, что вы въ своемъ отрицаніи не видали и даже не хотѣли видѣть свѣтлыхъ сторонъ этого темнаго царства? Нужды нѣтъ. Вы, даровитый и честный теоретикъ, все-таки сдѣлали свое дѣло. То, что въ «Темномъ царствѣ» есть

дѣйствительно *темнаго*, вы изслѣдили съ полною, честною и смѣлою послѣдовательностью. Въ своемъ голомъ отрицательномъ отношеніи къ жизни вообще и къ особенному міру художника вы невиноваты или виноваты только какъ вообще всѣ теоретики виноваты противъ жизни.

Но что вы сдѣлаете съ вашимъ теоретическимъ отрицаніемъ въ отношеніи къ другимъ, болѣе или менѣе замкнутымъ художественнымъ мірамъ, — мірамъ, нерастворяющимся передъ вами широко настежь свои двери, требующимъ со стороны человѣка извѣстнаго углубленія, извѣстнаго посвященія въ нихъ?

А въѣзъ такихъ замкнутыхъ художественныхъ міровъ и было и есть, да по всей вѣроятности и будетъ немало, и стало-быть они суть необходимыя, органическіе продукты души человѣческой...

Я знаю, вы будете жестоко-послѣдовательны. Вы бывали уже неразъ жестоко-послѣдовательны! Вы разобьете эти міры діалектическимъ молотомъ: что дескать ихъ жалѣть?.. и увы! намъ, не-теоретикамъ, необладающимъ вашею храбростью отношеній къ жизни и къ душѣ человѣческой, останется только повторять съ уныніемъ пѣснь духовъ изъ Фауста:

Weh, Weh!
Du hast sie zerstört,
Die schöne Welt,
Mit mächtiger Faust (!)!

пожалуй даже съ напраснымъ призывомъ:

Baue sie wieder,
In deinem Busen baue sie auf (!)!

Но пусть и напрасенъ въ отношеніи къ вамъ призывъ, — уныніе наше будетъ не за эти міры, а за васъ. Теорія ваши, сдѣлавши свое дѣло, — дѣло вполне полезное и честное, — пройдутъ, а міры, къ которымъ были они прилагаемы съ безпощадною послѣдовательностью, останутся. Останутся и поэзія вообще и Пушкинъ въ особенностяхъ, да не только Пушкинъ, но даже и меньшіе въ этомъ царствѣ, такіе меньшіе, которые вамъ совсѣмъ уже ненужны, которые

(¹) Увы, увы!
Ты его разбилъ,
Прекрасный міръ,
Могучимъ кулакомъ!

(²) Построй его вновь,
Въ своей груди возсоздай его!

создавали совершенно замкнутые міры, если только міры ихъ оказываются дѣйствительно-поэтическими мірами...

Поэтическими, т. е. необходимыми и можетъ-быть даже болѣе необходимыми, чѣмъ паровыя машины, пароходы и желѣзныя дороги!

Но произведенія Л. Толстого не принадлежатъ даже къ такого рода совершенно замкнутымъ, «ненужнымъ» для нашей современной критики мірамъ. Еслибы это было такъ, равнодушіе къ нимъ не требовало бы большихъ разъясненій... Но въ Л. Толстой — не лирикъ какъ Тютчевъ, Огаревъ, Фетъ, Полонскій, хотя въ немъ и много лиризма. Это даже не повѣствователь исключительныхъ драмъ, совершающихся въ исключительныхъ обстановкахъ, не историкъ исключительныхъ, тонко-развитыхъ и притомъ такъ-сказать тронутыхъ, надломленныхъ организацій, какъ Тургеневъ. Понятно охлажденіе теоретиковъ къ Тургеневу и оно должно быть объясняемо ихъ послѣдовательностью. Но Толстой менѣе всего походитъ на Тургенева, стало-быть и причинъ равнодушія къ нему надобно искать въ другихъ источникахъ, нежели тѣ, изъ которыхъ произошло охлажденіе теоретиковъ къ Тургеневу.

Толстой прежде всего кинулся всѣмъ въ глаза своимъ безпощаднѣйшимъ анализомъ душевныхъ движеній, своею неумолимой враждою ко всякой фальши, какъ бы она тонко развита ни была и въ чемъ бы она ни встрѣтилась. Онъ сразу выдался какъ писатель необыкновенно оригинальный смѣлою психологическаго приема. Онъ первый посмѣлъ говорить вслухъ, печатно о такихъ душевныхъ дрязгахъ, о которыхъ до него всѣ молчали, и притомъ съ такою наивною, которую только высокая любовь къ правдѣ жизни и къ нравственной чистотѣ внутренняго міра отличаетъ отъ наглости. Этотъ приемъ изобличалъ въ художникѣ и возвышенную искренность натуры, и бесспорно-геніальное чутье жизни. Едва ли что подобное искренности этого приема найдется въ какомъ другомъ писателѣ, даже изъ писателей чужеземныхъ.

Приемъ этотъ всѣ болѣе или менѣе замѣтили, да и не замѣтить его было невозможно. Но никто, сколько мнѣ помнится, не потрудился взглянуть пристальнѣе въ источники этого приема и подумать посерьознѣе о его послѣдствіяхъ. Никто не задалъ себѣ вопросъ: подлинно ли искренность эта есть непосредственная, наивная, или въ ней есть тоже своего рода надломленность и тронутость? и чѣмъ эта безпощадная искренность отличается напримѣръ отъ искренности, столь же несомнѣнной, столь же и даже до цинизма смѣлой реалиста Писемскаго или отъ искренности Островскаго, которая такъ проста и такъ въ себѣ самой увѣрена, что никогда и не

заботится даже показывать публикѣ, что вотъ дескать какая я искренность: любуйтесь или ужасайтесь ⁽¹⁾).

Между тѣмъ Толстой, разработывая свои психологическія задачи, постепенно дошолъ до такихъ нравственныхъ результатовъ, которые не только не имѣютъ ничего общаго съ требованіями и воззрѣніями теоретиковъ, но даже прямо имъ противорѣчатъ, до того противорѣчатъ, что остается совершенно необъяснимымъ помѣщеніе его «Люцерна» и «Альберта» въ «Современникѣ»: такъ рѣзко эти произведенія расходятся въ духѣ и направленіи съ журналомъ теоретиковъ. Молчаніе о Толстомъ и о его лучшемъ произведеніи: «Семейномъ счастіи» за направленіе, которое ясно обнаружилось въ его дѣятельности — дѣло совершенно понятное. Непонятно только то, какимъ образомъ съ самаго начала теоретики не видали, куда поведетъ молодого писателя искренность его анализа? И «Люцернъ», и «Альбертъ», и «Семейное счастье» — не крутой поворотъ какой-нибудь съ прежней дороги, а прямое продолженіе ея, прямой результатъ того психическаго анализа, который поразилъ всѣхъ въ «Военныхъ рассказахъ», въ «Дѣтствѣ и отрочествѣ» — и нѣсколько утомилъ даже читателей, какъ и самого автора, въ «Юности».

Дѣло въ томъ, что разъясненіе значенія анализа, отличающаго произведенія Толстого, сравненіе его рода искренности съ другими и выводъ этой искренности изъ историческихъ данныхъ общаго нашего развитія, могли бы можетъ-быть уяснить для насъ въ нашемъ сознаніи гораздо больше фактовъ, чѣмъ безконечное распластываніе «обломовщины», чѣмъ даже всевозможныя обличенія все-россійскихъ иллюзій въ ихъ печальной несостоятельности.

Ну прекрасно, мы — обломовцы, и достаточно уже казнили насъ за то, что мы обломовцы: мы несостоятельны во всемъ томъ, что великолѣпно называли убѣжденіями и достаточно опозорены за это въ лицѣ такихъ даже нашихъ представителей, которыхъ нелегко было видѣть намъ позоримыми... Не говорю ни слова противъ этого критическаго приѣма нашихъ теоретиковъ. Онъ имѣетъ свое важное, даже великое значеніе, и притомъ (чего сами теоретики можетъ-быть не подозреваютъ) онъ, этотъ приѣмъ, вытекаетъ прямо изъ нашей народной сущности, изъ свойствъ самой натуры русскаго человѣка. Въ этомъ-то и заключается главнымъ образомъ его сила. Русскій человѣкъ — такъ ужъ его Богъ создалъ — не боится прилагать ножъ анализа и бичъ комизма къ какимъ бы то ни было *види-*

(1) Укажу хоть напримѣръ на *чудовищныя* мечтанія Бальзамина въ послѣдней части удивительной трилогіи о немъ, а изъ первыхъ вещей Островскаго на монологъ Милашина въ V актѣ «Бѣдной невѣсты».

мымъ явленіямъ. Мы вонъ даже къ смерти, наименѣе комическому изо всѣхъ видимыхъ явленій жизни, можемъ относиться съ такою прямою взгляда, съ какою относится къ ней Толстой въ одномъ изъ своихъ «Военныхъ расказовъ» и въ очеркъ «Три смерти»; въ ней самой даже можемъ равнодушно подмѣчать комическія стороны, какъ подмѣчаетъ ихъ г. Горбуновъ въ двухъ изъ своихъ расказовъ (*смерть старухи и визиты къ вдовѣ*). Комическое или по крайней мѣрѣ отрицательное отношеніе ко всему составляетъ можетъ-быть высшее свойство нашего ума. Такъ чтожь тутъ конечно щадить намъ нашу несостоятельность, въ чемъ бы и въ комъ бы она ни проявилась?..

Но кромѣ того, что взглядъ теоретиковъ силенъ, онъ въ тоже время и честенъ. Его даже и на минуту не поставишь на одну доску съ другими взглядами, выражающимися въ настоящее время въ нашей критикѣ. Онъ смѣло и прямо смотритъ въ глаза той правдѣ, которая ему является, неуклонно и безпощадно выводитъ изъ нея всѣ послѣдствія. Онъ не беретъ на прокатъ чужихъ, хотя бы и англійскихъ воззрѣній; онъ неспособенъ тоже услаждаться и празднымъ эстетическимъ дилетантизмомъ. Онъ хочетъ *дѣла*, прямо имѣетъ въ виду *дѣло*, и все то, что не *дѣло* или что кажется ему не *дѣломъ* — отрицаетъ безъ малѣйшаго колебанія. Пусть его пониманіе *дѣла* односторонне, его захватъ узокъ. Это ничего. Чѣмъ уже захватъ мысленнаго горизонта, тѣмъ онъ доступнѣе взгляду массъ. Давно извѣстно qu'il n'y a que des pensées étroites qui régissent le monde. Широкая мысль, если она не въ обладаніи генія, расплывается часто въ безвоздушномъ пространствѣ. Узкая мысль видитъ передъ собою ближайшую цѣль и показываетъ ее другимъ: она бьетъ навѣрняка. Пусть у жизни есть свои тайны, пусть только на пути къ алхиміи обрѣло человѣчество химію съ ея благотѣльными практическими приложеніями, — въ настоящую минуту взглядъ теоретиковъ торжествуетъ и *долженъ* торжествовать. Въ торжествѣ его участвуетъ одна изъ сторонъ народнаго духа, торжествуетъ стало-быть все-таки непосредственная жизненная сила... Ей нуженъ былъ исходъ, и нашолся.

Да извинять меня читатели за это отступленіе въ пользу теоретическаго направленія. Оно вовсе не лишнее. Тотъ странный фактъ, что сочиненія графа Л. Толстого должны быть по всей строгой справедливости отнесены къ разряду явленій, незамѣченныхъ нашею критикою, равно какъ и самое образованіе разряда такихъ явленій, — можетъ быть объяснено только направленіемъ нашей критики.

Дѣло самое ясное, что для современной критики нашей литера-

тура перестала быть не только главнымъ и полнымъ, но вообще сколько-нибудь знаменательнымъ выраженіемъ жизни. Перестала ли она быть таковымъ для самой жизни, — это еще вопросъ; но что для критики, т. е. для сознанія нѣсколькихъ, для сознанія избранныхъ, пожалуй передовыхъ людей, перестала, — это несомнѣнно. Въ самомъ дѣлѣ, для котораго изъ имѣющихъ силу критическихъ направленій нашихъ она составляетъ то, что составляла нѣкогда для Полевого, Надеждина, Бѣлинскаго?.. Рѣшительно ни для одного. Върующихся въ литературу осталось мало, т. е. върующихся въ нее какъ въ органическую силу, какъ въ живой голосъ жизни.

У литературы есть пожалуй защитники, призванные, авторитетные, такъ-сказать официальные. Это — поборники чисто-эстетическаго взгляда, поклонники *искусства для искусства*. Но не ихъ разумѣю я, говоря о маломъ числѣ върующихся въ литературу. Литературные гастрономы (иного названія они не заслуживаютъ), эти господа всего менѣе способны видѣть въ литературѣ живую силу жизни. Какъ таковая, она бы ихъ и пугала и тревожила. Да направленіе чистыхъ эстетиковъ и не есть собственно направленіе. Основное начало ихъ (искусство для искусства) не имѣетъ за себя ни психологическихъ, ни историческихъ данныхъ: оно порождено празднымъ дилетантизмомъ. Ни на одного великаго художника нельзя указать, который бы видѣлъ въ своемъ высокомъ дѣлѣ одно искусство для искусства; никакихъ пружинокъ въ сложномъ механизмѣ души и человѣческой не отыщешь для узаконенія шахматной игры въ поэзіи. Поэтому о чисто-эстетическомъ направленіи критики и о его отношеніи къ литературѣ говорить рѣшительно не стоитъ. Надобно оставить мертвымъ хоронить своихъ мертвецовъ. Что такое литература для эстетическаго направленія, — это вопросъ совершенно неинтересный. Сегодня для него литература — Шекспиръ, Пушкинъ и т. д., а завтра можетъ-быть, по гастрономической прихоти, романы Анны Радклейфъ или «Постоялый дворъ» г. Степанова.

Но что составляетъ литература для имѣющихъ силу и жизненность направленій, — это дѣло очень важное.

1) Для славянофильства, поскольку выразилось оно до сихъ поръ во всѣхъ своихъ изданіяхъ (а выразилось оно уже достаточно), литература была и будетъ всегда явленіемъ подчиненнымъ, а не самосущимъ. Наша литература: Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Островскій. Славянофильство съ большими ограниченіями и какъ-то *спусходительно* принимаетъ Пушкина; видитъ заблудшую комету въ Лермонтовѣ; весьма плохо понимаетъ Островскаго, а въ Гоголѣ, ставя его выше всѣхъ другихъ нашихъ писателей, видитъ вовсе не то, что видятъ другіе. Въ одной изъ искреннѣйшихъ статей своихъ

славянофильство чуть-чуть не положило всю русскую литературу къ подножію «Семейной хроники». Дайте славянофильству полную волю, — оно рѣшительно оставитъ насъ при одной допетровской письменности да при Гоголѣ и «Семейной хроникѣ» изъ всей новой литературы. Нѣтъ спора, что «Семейная хроника» есть произведеніе истинно-замѣчательное, даже высокое; нѣтъ тоже спора и въ томъ, что Гоголь былъ громадный талантъ; но дѣло-то въ томъ, что «Семейная хроника» принадлежитъ къ разряду тѣхъ исключительныхъ произведеній, которыя, сами по себѣ взятая, представляютъ явленія выше обычнаго, даже талантливаго уровня и которыхъ авторовъ вы однако усомнитесь, и притомъ совершенно справедливо усомнитесь, назвать великими писателями; что же касается до Гоголя, то этотъ великій писатель представляетъ въ настоящую минуту вопросъ чрезвычайно спорный, не по отношенію къ силѣ его таланта, а по отношенію къ значенію его произведеній. Великоруссы начали видѣть въ немъ малоросса, понимавшаго въ нашемъ, великорусскомъ быту только отрицательныя стороны, а малороссы откидываютъ его къ великоруссамъ. Съ другой стороны, своимъ несочувствіемъ къ Пушкину, славянофильство похериваетъ въ нашемъ развитіи цѣлую полосу, которой онъ былъ блистательнымъ результатомъ, а малымъ пониманіемъ Островскаго отрицаетъ всю ту народную жизнь, которая органически сложилась изъ коренныхъ старыхъ и привзошедшихъ новыхъ стихій. Явное дѣло, что славянофильству, относящемуся такимъ образомъ къ самымъ крупнымъ литературнымъ фактамъ, дорогъ въ литературѣ только его собственный идеальчикъ. «Служи!» говоритъ оно литературѣ (да и самой народной жизни, въ которой одно принимаетъ, а другое произвольно отвергаетъ) — и награждаетъ литературу по степени болѣе или менѣе усерднаго служенія. Обличительную литературу напримѣръ оно приняло подъ свое покровительство, какъ разъясненіе и кару официально-общественной гнили, но литературу отрицательную оно ненавидѣло. Тургенева оно похвалило нѣкогда за «Хоря и Калиныча», въ тоже самое время какъ назвало гнилымъ одно изъ блистательнѣйшихъ его произведеній въ отрицательной манерѣ («Три портрета»). На Писемскаго славянофильство, долго о немъ молчавшее и какъ-будто нехотѣвшее признавать его существованія, возстало съ яростью за его Аванія въ «Горькой судьбинѣ», т. е. именно за то, что въ «Горькой судьбинѣ», драмѣ весьма плохой въ художественномъ отношеніи, — и ново, и живо, и смѣло, и сильно. Въ настоящую минуту, единственное литературное явленіе, безусловно принимаемое славянофильствомъ, есть г-жа Кохановская. Все прочее въ литературѣ и стало-быть въ жизни — потому что какихъ же нибудь

сторонъ жизни да служить выраженіемъ литература, — все прочее, безъ исключенія даже Островскаго, или вовсе не подходитъ, или подходитъ только съ извѣстными ограниченіями подъ мѣрку теоріи. Ибо въ сущности славянофильство, несмотря на всю свою религіозную любовь къ народу, есть все-таки теорія, и свои теоретическія наклонности выражало неразъ даже и по отношенію къ быту народа, къ явленіямъ, которыя, какъ напримѣръ пѣсня, непосредственно изъ этого быта возникли, или, какъ драмы Островскаго, сознательно и полно его выражаютъ.

2) И — странное дѣло! Несмотря на всю разницу формъ выраженія, внѣшнихъ симпатій и тона, направленіе *теоретическое* и направленіе *славянофильское* удивительно сходны между собою въ томъ, что оба кладутъ жизнь на Прокрустово ложе; сходны въ смѣлой послѣдовательности взглядовъ; сходны въ равно-несомнѣнномъ благородствѣ образа мыслей и чувствованій, въ суровой гражданской строгости, въ трезвенномъ пониманіи общественныхъ обязанностей, сходны наконецъ въ томъ, что только они два имѣютъ и могутъ имѣть дѣйствительную силу. Разница между славянофилами и теоретиками, т. е. положимъ, между покойнымъ Хомяковымъ и г. Чернышевскимъ, между г. И. Аксаковымъ и Добролюбовымъ, только въ томъ, что гг. Чернышевскій и Добролюбовъ, хотя точка отправления ихъ есть собственно западная, по натурѣ своей гораздо больше русскіе люди, чѣмъ всѣ славянофилы. Они способны къ тому, чтобы сжигать за собою корабли, они смѣлѣе и безпощаднѣе въ приложеніи уровня *общиннаго* начала къ многообразнымъ фактамъ жизни. Храмъ этому общинному началу славянофилы строятъ въ старомъ византійскомъ стилѣ, а они въ простѣйшемъ казарменномъ. Славянофильство въ будущемъ можетъ-быть и сильнѣе ихъ, потому что имѣетъ готовыя формы для своего идеала; а формы вообще, да притомъ готовыя, завѣщанныя вѣковыми преданіями, дѣло не малой важности. Но въ настоящую минуту теоретики — гораздо болѣе ихъ господа положенія. Передъ ними теперь все кромѣ славянофильства и «Русскаго Вѣстника» смолкаетъ и склоняется, даже въ послѣднее время «Библіотека для чтенія», этотъ послѣдній лагерь шахматной игры въ искусствѣ: противъ нихъ все оказывается безсильно, даже бывалая ѣдкость г. Павлова. Потому, — смѣлы и прямы. А главнымъ образомъ, теоретическій взглядъ, силой своего отрицанія, вполне русскій. Не вся сущность русскаго, т. е. русской жизни, захвачена взглядомъ теоретиковъ, но зато уже одна сторона, отрицательная, вполне имъ исчерпывается. Дальше идти некуда въ отрицаніи, и взглядъ теоретиковъ нѣкоторое время еще будетъ передовымъ взглядомъ. Прибавить надобно еще, что кромѣ своей смѣлости и

народности, онъ, по опредѣленности своихъ цѣлей, простъ и ясенъ до того, что кладетъ всѣмъ въ ротъ жованую и пережованую пищу, не требуетъ никакихъ усилій мышленія, даже *отучаетъ* мыслить, даже постоянно смѣется надъ всякими усиліями мышленія, а массѣ разумѣется это и на-руку. И понятно, да и впередъ толкается. Наконецъ вотъ еще что: теоретическій взглядъ глубоко презираетъ и жизнь съ ея органическими законами, съ ея исторіею, да и литературу, какъ органическое выраженіе органической жизни; но въ тоже самое время въ немъ слишкомъ много практической смѣтки, чтобы онъ позволилъ себѣ слишкомъ рѣзко расходиться съ жизнью и съ ея выраженіемъ, литературою, — и онъ съ необыкновенною ловкостью подлаживается, подстроиваетъ подъ свой тонъ всѣ знаменательныя ихъ явленія. Славянофильство просто отметаешь и въ литературѣ и даже въ быту народномъ всѣ явленія, несогласныя съ его идеаломъ, называя ихъ въ литературѣ гнилью, а въ быту народномъ порчею, уродливостью и т. д. Теоретики поступаютъ практичнѣе: они видятъ и заставляютъ другихъ видѣть только то что имъ надобно въ знаменательныхъ явленіяхъ жизни и литературы.

Замѣчательнѣйшій примѣръ подлаживанія и подстроиванія, въ тонъ теоріи, литературныхъ фактовъ — представляетъ отношеніе теоретиковъ къ Островскому. Долго, какъ извѣстно, журналъ, въ которомъ теперь съ полнотою и послѣдовательностью выражается взглядъ теоретиковъ, находился «безъ кормила и весла». Западничество, котораго онъ былъ послѣднимъ порожденіемъ, уже умирало во дни его младенчества и совсѣмъ умерло когда онъ росъ, ибо смертная хрипота этого направленія въ «Атенѣ» 1857 года не принадлежитъ къ признакамъ жизни, а «Наше Время» въ *наше* время представляетъ очевидно разложеніе трупа. Но западничество, умирая, отнеслось враждебно къ новому слову литературы. Своимъ вѣрнымъ, хотя и дряхлымъ отрицательнымъ тактомъ оно почуяло, что идетъ сила новая, сила богатырская, сила народная — и иначе какъ враждебно, оно, по существу своему чисто отрицательное, не могло отнестись къ этой силѣ. Журналъ долго продолжалъ тянуть старую пѣсню, и враждебнѣе всѣхъ другихъ, даже «Отечественныхъ Записокъ», побѣдившихъ его только постылиствомъ, относился къ новому факту жизни и литературы. Но журналъ самъ по себѣ былъ молодъ и свѣжъ и охотно допускалъ въ составъ свой новые соки. Когда эти соки слѣвались въ немъ преобладающими, условное положеніе стало для него очень затруднительно. Какъ отъ вражды къ новому, возраставшему въ силѣ своей факту, перейти къ его принятію, пониманію и узаконенію?... Дѣло между тѣмъ разрѣшилось очень просто. Теоретики увидали въ новомъ литературномъ фактѣ

то, что имъ было надобно, бессознательно закрыли глаза на то, что имъ вовсе было ненадобно или, также бессознательно, въ ослабленіи своей вѣры (ибо у нихъ съ самаго начала выразилась живая стихія: вѣра) перевернули это имъ ненадобное на изнанку. Островскій явился у теоретиковъ великимъ писателемъ, но только какъ изобразитель «Темнаго царства». Оборотъ необыкновенно ловкій, но по всей вѣроятности не преднамѣренный. Такъ вышло, такъ сдѣлалось...

Взгляни теоретики на Островскаго какъ на народнаго поэта, т. е. взгляни просто, а не полъ угломъ теоріи, — журналъ долженъ былъ бы порѣшить все свое западное прошлое. Теоретики своею вѣрою, какъ всякая вѣра бессознательною, спасли его отъ такихъ вавилонскихъ жертвъ. Люди новые и свѣжіе, люди притомъ русскіе, они поняли, что за сила Островскій; но какъ теоретики, они поняли въ немъ только то, что подходило полъ ихъ взглядъ, и надобно отдать имъ справедливость, поняли такъ, что эту отрицательную сторону дѣятельности Островскаго полнѣе и понять невозможно. Статьи о «Темномъ царствѣ» произвели на массу читателей чрезвычайно сильное впечатлѣніе. Писанныя человекомъ истинно-даровитымъ, горячимъ и честнымъ, онѣ имѣли за себя и большую долю правды...

Вѣдь нельзя же сказать въ самомъ дѣлѣ, чтобы «жестокіе» правы, представляемые почти повсюду художникомъ, чтобы жизнь, которая сама себя забыла дотога, что, по ея разумѣнію, «эта Литва, она къ намъ съ неба упала», — нельзя же, говорю я, сказать, чтобы все это представляло собою «свѣтлое царство»... А этого и было достаточно, чтобы узаконить новый литературный фактъ во имя теоріи. На любовный характеръ семейнаго начала, на явные симпатіи художника къ русской натурѣ, широкой ли, какъ натуры Любима Торцова и Петра Ильича, христіански ли чистой и великодушной, какъ натуры Бородинна и Мити, глубокой ли и въ запущенности, какъ натура Хорькова, и въ загнанности, какъ натура Кабанова; на величавость патріархальныхъ фигуръ благодушнаго Русакова и суроваго Ильи Ивановича; на типы русскихъ матерей, трогательные даже тогда, когда они, какъ мать Олимпіады Самсоновны, погружены въ тину непроходимой глупости; на симпатію поэта къ его королю Лирю — Большову; наконецъ на цѣлый рядъ граціозныхъ, симпатическихъ и вмѣстѣ глубокихъ женскихъ натуръ, созданныхъ поэтомъ, на многоразличныя струны русской души, имъ первымъ тронутыя, — на все это теоретики закрыли глаза. Только они, съ ихъ фанатическою вѣрою въ теорію, могли это сдѣлать. Все это имъ было ненадобно. Опять повторяю: такъ ими почувствовалось, и потому такъ вышло, такъ сдѣлалось...

Сдѣлалось же то, что теоретики узаконили новый литературный фактъ, чего не удалось видѣвшимъ въ Островскомъ народнаго поэта, и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлалось то, что теоретики стали во главѣ умственнаго развитія. Главенство ихъ будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока жизнь не разъяснитъ сама себя новыми явленіями и пока съ этими новыми явленіями они не станутъ въ явный разрѣзъ. Печальнѣе же, передъ глазами большинства, они положительно правы. Только меньшинство, и притомъ весьма малочисленное, видитъ явленія, ими незамѣчаемыя.

«Какая гордость со стороны меньшинства!» подумаютъ можетъ-быть читатели. Да вѣдь, милостивые государи, меньшинство съ своей стороны указываетъ вамъ на факты. Разбейте прежде факты, которые я привелъ вамъ по поводу Островскаго; убѣдите меня, что Толстой напримѣръ — явленіе вполне замѣченное и оцѣненное, или что онъ явленіе справедливо-незамѣченное, что не стоило его замѣчать, — я откажусь конечно отъ своей упорной недовѣрчивости къ теоріи. Вѣдь только то мѣрило хорошо, подъ которое подходятъ всѣ знаменательные факты жизни и всѣ вѣчные инстинкты души человѣческой. Для того чтобы я повѣрилъ въ теорію, я прежде всего попрошу у нея въ полное и законное свое обладаніе не только Пушкина, не только свѣтлыя стороны міра, изображаемаго Островскимъ, не только Толстого, но даже меньшихъ: Тютчева, Огарева, Фета, Полонскаго. Вѣдь душа человѣческая столько же какъ и теорія неумолима въ своихъ требованіяхъ, а пожалуй еще и неумолимѣе. Теоретики скажутъ можетъ-быть, что это душа ненормальная, развращенная; а я имъ отвѣчу, что вотъ уже семь тысячъ лѣтъ она такъ ненормальна и такъ развращена, и что срокъ, когда по ученію Фурье, луна соединится съ землею и когда произойдетъ совершенный переворотъ въ мозгахъ человѣческихъ, ни мнѣ, ни имъ неизвѣстенъ.

3) Что касается до взгляда чисто-западнаго, то о немъ въ настоящую минуту нельзя говорить какъ о дѣйствительно-существующемъ, живомъ направленіи. Взглядъ этотъ сдѣлалъ свое дѣло, и дѣло великое, хотя исключительно-отрицательное: дѣло разъясненія и очищенія національности литературы. Сила его заключалась не въ немъ самомъ, а въ слабости и фальши противоположныхъ ему положительныхъ воззрѣній, да въ томъ еще, что онъ опирался въ свое время на живую силу, на литературу. Помню какъ по этому великомъ покойникѣ я посвятилъ уже нѣсколько статей во «Времени», къ которымъ и позволю себѣ отослать читателей.

Дѣло въ томъ, что пока западничество опиралось на живую силу, — оно само было сильно. Какъ же скоро оно разошлось съ

жизнью и выраженіемъ ея силъ, какъ скоро оно стало незамѣчать новооткрывавшихся силъ жизни или, непонимая ихъ, задумало враждовать съ ними, — оно пало. Фактъ очень простой и ясный. Паденіе застоя (раннее или позднее, это все равно) жлетъ всякое направленіе, какъ скоро оно начнетъ расходиться съ жизнью. Въ какихъ-нибудь десять-пятнадцать лѣтъ такъ много воды утекло, что весьма ученый журналъ «Атеней» не встрѣтилъ въ массѣ рѣшительно никакого сочувствія, а нѣкоторыми антинаціональными выходками возбудилъ даже негодованіе, — что начатое добросовѣстно и энергично «Московское Обозрѣніе» не прожило даже и года, что «Русская Рѣчь» даже и по вступленіи въ супружество съ «Московскимъ Вѣстникомъ» имѣетъ очень ограниченный кругъ читателей, что «Наше Время» читается только по любви публики къ литературнымъ скандальчикамъ. Время перемѣнилось и никакія усилія, никакіе авторитеты, никакія даже ученія и полемическія дарованія (что гораздо поважнѣе нашихъ самосоздающихся и саморазрушающихся авторитетовъ) не спасутъ уже отжившаго взгляда.

Ни одинъ взглядъ, безъ исключенія даже взглядъ теоретиковъ, не презираетъ въ настоящую минуту такъ глубоко и жизнь и литературу, какъ издыхающее западничество. Что такое напимѣръ литература для г. Павлова, редактора «Нашего Времени»? Его собственныя повѣсти да литературный періодъ, который онъ прожилъ въ молодости. Ни Островскій, ни Писемскій, ни даже Тургеневъ для него не существуютъ. Допетровская письменность для него «темна вола во облацѣхъ воздушныхъ». Что такое была литература наша для многоученаго и мрачнаго «Атенея»? Можетъ-быть тѣ странныя, чтобы не сказать «страшные» апологи, которые онъ печаталъ въ видѣ десерта промежду своихъ тяжело-ученыхъ статей... Что была наша литература для «Московского Обозрѣнія»? Разныя нѣмецкія и французскія брошюры?.. ибо кѣ всѣмъ нашимъ явленіямъ оно, несмотря на свое кратковременное существованіе, успѣло уже отнестись съ озлобленіемъ до пѣны у рта. Что такое наконецъ наша литература для г-жи Евгеніи Туръ? Опять-таки, точно также какъ для г. Павлова, *вопервыхъ* ея собственныя романы и повѣсти, да *восторыхъ* романы, повѣсти и ученія сочиненія извѣстнаго кружка, весьма ограниченаго даже и въ западномъ смыслѣ. А главное-то дѣло, что ея «Русской Рѣчи» до русской литературы и до русской жизни собственно и дѣла нѣтъ: эти интересы слишкомъ мелки передъ интересами борьбы съ ультрамонтанствомъ!..

Чтоже сказать о послѣднемъ, совершенно случайномъ убѣжищѣ западнаго взгляда, о столбцахъ фельетона «С.-Петербургскихъ вѣ-

домостей», — столбцахъ, которые становятся иногда ристалищемъ для барда, являющагося подъ таинственнымъ именемъ *Гымалэ*?.. Возрѣнія этого барда — уже какой-то явный анахронизмъ, лишонный даже всякаго литературнаго такта. Вѣдь только при полнѣйшемъ отсутствіи этого, столь же необходимаго въ литературѣ, какъ и въ жизни качества, возможно было напимѣръ, по поводу изданія пѣсенъ Кирѣевского, ругаться заднимъ числомъ надъ міромъ нашихъ эпическихъ сказаній и вообще нашего народнаго творчества. Явленіе истинно-изумительное!.. И тѣмъ болѣе оно изумительно, что барды газеты-колоніи совершенно расходятся въ этомъ пунктѣ со взглядомъ журнала-метрополіи, съ теперешнимъ направленіемъ «Отечественныхъ Записокъ», — направленіемъ, болѣе славянофильскимъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ, чѣмъ само славянофильство. Многіе, читая глумленія г. Гымалэ надъ богатырями и Змѣемъ-Тугаринымъ, встрѣтившись нежданно-негаданно съ этимъ странно-несвоевременнымъ повтореніемъ давно всѣмъ извѣстной статьи Бѣлинскаго, — подумали: ужъ не штука ли это? не сдѣлано ли это по особенному ордеру метрополіи, для заявленія, что дескать вовсе не наши барды дѣйствуютъ на столбцахъ газеты, что мы молъ сами по себѣ, а они сами по себѣ, имѣютъ свое мнѣніе, высказываютъ свой взглядъ? Иначе никто не умѣлъ и не могъ объяснить себѣ какъ этой, такъ и другихъ, поистинѣ удивительныхъ статей г. Гымалэ.

4) «Отечественныя Записки», пѣкогда такъ долго и съ такою славою проводившія взглядъ западный во всѣхъ, самыхъ крайнихъ его послѣдствіяхъ, потомъ, по удаленіи Бѣлинскаго, лѣтъ десять дышавшія непроходимою скукою «капитальныхъ» статей о русской литературѣ, — въ послѣдніе два года рѣшились выступить въ обновкѣ. Заимствовавши у славянофильства его вѣру въ народъ и его убѣжденіе въ разобщенности народа съ образованнымъ классомъ, — онѣ рѣшительно не знаютъ до сихъ поръ что дѣлать съ своей обновкой и какъ съ ней обращаться. Съ народомъ и съ его бытомъ онѣ познакомились очень недавно. Пораженные новымъ міромъ, который раскрылся имъ въ сказкахъ, собранныхъ г. Афанасьевымъ и въ пѣсняхъ, набранныхъ у разныхъ собирателей г. Якушкинымъ, онѣ пришли въ такой неопитскій азартъ, что все неподходящее подъ жизненный взглядъ и складъ рѣчи этихъ сказокъ и пѣсенъ перестали считать за литературу народа. Предложивши глубокомысленно вопросъ: народный ли поэтъ Пушкинъ? и разрѣшивши его отрицательно, на томъ основаніи, что народъ Пушкина не читаетъ, — онѣ забыли въ своемъ пивическомъ азартѣ два простыхъ обстоятельства: 1) что ни одинъ изъ первостепенныхъ европейскихъ поэтовъ

не подойдет подъ рамку ихъ понятія о народномъ поэтѣ, а подойдутъ развѣ только второстепенные и третьестепенные — Борнсъ, Гейбель и т. д., и 2) что только большее распространѣніе грамотности въ народѣ покажетъ, будетъ ли народъ читать Пушкина или нѣтъ. Вообще же о взглядѣ этого журнала нельзя говорить въ настоящую минуту какъ о чемъ-либо самостоятельномъ. Это клочки славянофильства, лишенные жизненной цѣлости и энергическаго духа славянофильства.

5) Наконецъ взглядъ, выросшій первоначально на почвѣ западной, но значительно видоизмѣнившійся сообразно съ потребностями времени, примѣнившійся, приладившійся къ этимъ потребностямъ и довольно долго отвѣчавшій на нихъ съ несомнѣнныхъ тактомъ и замѣчательною ловкостью, — представлялъ собою до послѣдняго года «Русскій Вѣстникъ».

Начатый кружкомъ умѣренныхъ западниковъ, кружкомъ уединеннаго Поръ-Рояля западничества, онъ не имѣлъ за собою кораблей, которые надо было бы сжечь, вступая на новый берегъ. Ни г. Катковъ, ни г. Леонтьевъ не заявили себя въ литературѣ никакимъ рѣзкимъ фактомъ, по которому бы ихъ можно было прямо отнести къ направленію послѣдней эпохи Бѣлинскаго и «Писемъ объ изученіи природы». Скромные и добросовѣстные ученые, извѣстные спеціальными философскими, историческими или филологическими трудами, они являлись до изданія «Вѣстника» только жрецами западной науки, окруженные нѣсколькими, какъ и подобаетъ жрецамъ, таинственнымъ нимбомъ.

Время, выбранное ими для изданія новаго журнала, было самое благоприятное. «Современникъ» тогда еще не сложился, и находясь «безъ кормила и весла», служилъ преимущественно гиподромомъ для фешенебельныхъ ристаній «пногороднаго подписчика»; «Отечественныя Записки» дышали, какъ выше упомянуто, мертвящей скукою «капитальныхъ» статей о русской литературѣ, распространявшихъ до пересела замѣчанія къ хрестоматіи г. Галахова. Единственный чисто-литературный журналъ — не удивляйтесь! — былъ въ это время безалаберный и безобразный «Москвитяинъ», гдѣ на каждую бочку меда, въ видѣ комедій Островскаго или романа Писемскаго, приходилось по ведру дегтю, вродѣ твореній гг. М. Дмитріева, Кулжинскаго, Архипова и т. д., гдѣ постоянно всѣ передовые взгляды главнаго редактора и всѣ юношески-горячія и честныя стремленія молодой редакціи парализовались самымъ же главнымъ редакторомъ, его непонятною привязанностью къ старому хламу и его неохотою вести журналъ акуратно и современно въ матеріальномъ отношеніи. Большая часть идей литературныхъ, ко-

торыя были проповѣдываемы и защищаемы тогда «Москвитяиномъ», постепенно перешли въ литературу, но перешли какъ нѣчто стихійное. О журналѣ нѣтъ и помину — да и подѣломъ! Не вливаютъ вина новаго въ мѣхи ветхіе.

Въ эту-то минуту броженія однихъ силъ и застоя другихъ явился «Русскій Вѣстникъ» и сразу сталъ передовымъ и первенствующимъ органомъ. «Русская Бесѣда» явилась поздное, да и явившись, не могла съ нимъ соперничать.

Журналъ началъ нѣсколько неопредѣленно, но очень ловко. Изъ туманной, хотя и глубокомысленной статьи главнаго редактора о Пушкинѣ трудно было понять отношеніе новаго органа мысли къ литературѣ и жизни: казалось только всѣмъ, что направленіе его и дѣльно, и серьезно, и невраздѣбно литературѣ. Въ «Русскомъ Вѣстникѣ» явилась даже комедія Островскаго («Въ чужомъ пиру похмѣлье»), что немало содѣйствовало къ утвержденію этой мысли... Между тѣмъ съ первыхъ же политическихъ статей журнала почувствовалось нѣчто новое, до тѣхъ поръ небывалое, серьезное и энергическое, готовое на всякую честную борьбу. Статьи эти были бы передовыми въ любомъ изъ лучшихъ европейскіхъ журналовъ и вполне заслуживали названіе руководящихъ. Много нужно было времени для того, чтобы разоблачились *arsena fidei*, чтобы вышла наружу англійская подкладка доктрины, да и самъ журналъ еще не высказывалъ такъ прямо, какъ впоследствии, своей англоманіи. Съ другой стороны, новое направленіе съ самаго же начала показало какъ-говорится «зубы», и притомъ очень вострые. Письма Байбороды, — справедливо ли, нѣтъ ли заѣдалъ Байборода своихъ противниковъ, — на нашу еще не совсѣмъ твердую читающую массу имѣли большое вліяніе.

Вслѣдствіе всего этого, перелѣ авторитетомъ «Русскаго Вѣстника» преклонилось все кромѣ славянофильства — а для славянофильства еще не настала его *день*.

Въ эту первую эпоху своего существованія «Вѣстникъ» хотя уже и начиналъ въ своемъ литературномъ отдѣлѣ угощать публику произведеніями г-жи Нарской и князя Кугушева, стало-быть свѣдѣтельствовалъ уже нѣкоторымъ образомъ или о своемъ крайнемъ безвкусіи въ литературѣ, или о своемъ къ ней крайнемъ равнодушіи, — но за превосходныя политическія статьи и за серьезное поднятіе многихъ общественныхъ вопросовъ читатели взманивали бы сквозь пальцы, какъ на чистую случайность, даже и на то, если-бы журналу вздумалось вдругъ помѣстить въ отдѣлѣ изящной литературы даже «Прекрасную астраханку», или «Битву русскихъ съ кабардинцами», — произведенія, отъ которыхъ, правду сказать, на-

2338



слишкомъ далеко отстоятъ различные плоды «дамскаго» и «кавалерскаго» баловства, помѣщавшіеся и понынѣ еще зачастую помѣщаемые въ почтенномъ журналѣ.

Сначала такая литературная неразборчивость казалась всѣмъ случайностью. Но въ томъ-то и дѣло, что такъ только *казалось*. Подъ этою неразборчивостію таилось равнодушіе къ литературѣ. А къ литературѣ нельзя долго оставаться равнодушнымъ. Подъ равнодушіемъ къ литературѣ таится еще нѣчто другое...

Чтоже именно?

А вотъ видите ли: подъ равнодушіемъ къ литературѣ таится необходимо равнодушіе къ жизни, которой литература служить живымъ голосомъ. Въдѣ литература — вовсе не какая-нибудь отвлеченность. Въдѣ неужели *точно* о литературѣ или по крайней мѣрѣ только о литературѣ идетъ толкъ, когда напиримѣръ «Современникъ» вдругъ объявитъ Пушкина поэтомъ побрякушекъ, или г. Дудышкинъ вдругъ ни съ того, ни съ сего лишитъ Пушкина его народнаго значенія? Въдѣ неужели тоже по одному только тупому безвкусію «Русскій Вѣстникъ» безразлично готовъ помѣщать и Островскаго съ Тургеневымъ и Толстымъ, и произведенія г-жи Нарской, гг. Кугушева, Ахшарумова и tutti-quantum? Неужели этотъ многоученый и достопочтенный журналъ тоже только по безвкусію чуждается помѣщенія у себя произведеній въ народномъ духѣ, которыя, наскучивши лежать въ шкафахъ редакціи, вылетаютъ наконецъ изъ кѣтокъ на свѣтъ божій и съ немалымъ успѣхомъ появляются въ другихъ журналахъ? Не можетъ быть, чтобы все это дѣлалось *такъ*. Тутъ на днѣ дѣла лежатъ коренныя симпатіи и антипатіи, не къ невиннымъ конечно произведеніямъ литературы, а къ жизни, къ той жизни, которой литература является выраженіемъ... Даже и направленіе чисто-эстетическое, и то, несмотря на свою кастрированность, имѣетъ тоже свои симпатіи и антипатіи, имѣетъ основы болѣе глубокія, чѣмъ теорію шахматной игры въ искусствѣ. Подъ односторонними крайностями этого «невиннаго» свнуха все-таки, хоть можетъ-быть и безсознательно, скрываются вопросы общественные, нравственные и психическіе. Помните ли вы напиримѣръ, что въ одно время у критиковъ этого возрѣнія появилась манія говорить легкимъ тономъ о Зандѣ? помните ли вы, что недавно они заявили тоже свое легкое мнѣніе о Шиллерѣ? Неужели же подобныя маніи и странныя заявленія порождены одними эстетическими требованіями? Полноте пожалуйста. Мѣщански-нравственному идеальчику противны протестъ Занда и порывистый, уносящій лиризмъ Шиллера; комфортъ это нарушаетъ, изъ границъ условнаго приличія выводитъ. Вотъ въ чемъ и вся штука.



2882

Нетолько въ каждомъ вопросѣ искусства, но даже и въ каждомъ вопросѣ науки лежитъ на двѣ его другой вопросъ, вопросъ плоти и крови, вопросъ тѣсно связанный съ существенными сторонами жизни, и собственно только вопросы плоти и крови важны, потому что только въ такіе вопросы вносятъ плоть и кровь могучіе силы борцы. Человѣкъ столь великой души и жизненной энергіи какъ Ломоносовъ не писалъ бы доноса на Миллера за выводъ нашихъ варяговъ изъ чужой земли, и не дѣлился бы этотъ вопросъ, безпрестанно возникая вновь, до нашихъ временъ — еслибы подъ нимъ не скрывалось живого вопроса о значеніи и силѣ нашей національности. *Родъ и община* не дѣлили бы такъ рѣзко и враждебно насъ всѣхъ, служащихъ знанію и слову, еслибы корнями своими эти «ученые» понятія не вросли въ живую жизнь, не опредѣляли бы такъ или иначе ея значеніе въ прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ. Борьба за мысль чисто-головную невозможна или смѣшна какъ ссора мольеровскихъ философовъ въ «*Le mariage forcé*». Только за ту головную мысль люди борются, которой корни въ сердцахъ, въ его сочувствіяхъ и отвращеніяхъ, въ его горячихъ вѣрованіяхъ или таинственныхъ, смутныхъ, но неотразимыхъ, и какъ пѣкая сила, могущественныхъ предчувствіяхъ.

Тѣмъ болѣе относится это къ литературѣ, по сущности своей болѣе общедоступной, болѣе демократической, нежели знаніе. Въ ней интересы имѣютъ еще болѣе плотной, кровный характеръ. Интересы эти (симпатіи или антипатіи) возбуждаютъ въ ней одни только первостепенныя явленія, каковы на примѣръ въ нашей литературѣ Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь, Лермонтовъ, Островскій, хотя разумѣется въ отношеніи къ такимъ, дѣлающимъ эпоху явленіямъ, симпатіи или антипатіи высказываются сильнѣе и очевиднѣе. Вообще никакое явленіе словесности не можетъ быть разсматриваемо въ его эстетической замкнутости и отдѣльности. Отразило произведение дѣйствительныя, живыя потребности общественнаго организма, — вы конечно уже задаете себѣ вопросы о значеніи этихъ потребностей; выразило оно собою какія-либо насильственные и болѣзненные напряженія, вопросы, извнѣ пришедшіе и искусственно привитые или искусственно подогрѣтые, — вы начинаете отыскивать причины напряженій и искусственныхъ вопросовъ. Отъ вишняго вида растенія вы идете къ корнямъ, роетесь въ глубь. Маловажны часто произведенія, но важны и глубоко знаменательны вопросы, ими затрогиваемые или обнаруживаемые, попытки разрѣшенія которыхъ получаютъ значеніе положительное или отрицательное; важны и знаменательны эти отклики многообразной жизни, какъ сама жизнь многообразные, отклики мѣстностей, сословій, кастъ, тол-

*

ковъ, различныхъ слоевъ образованности, отклики самобытные или съ чужого голоса, туземные или навѣянные извнѣ, важны и знаменательны для мыслителя, религіозно-внимательно прислушивающагося къ подземной работѣ зиждительныхъ силъ жизни.

Явное дѣло стало-быть, что когда оказывается въ извѣстномъ направленіи равнодушіе къ литературѣ народа, оно въ переводѣ на прямой языкъ есть просто равнодушіе къ жизни народа. Равнодушіе же къ жизни какой бы то ни было — явленіе совершенно естественное.

Въ сущности оно — только маска презрѣнія или ненависти. Поэтому-то въ направленіяхъ энергически-самостоятельныхъ, каковы славянофильство и направленіе теоретиковъ, эта маска даже и не надѣвается. Славянофильство прямо презираетъ всю, *милую* по его мнѣнію, жизнь и не скрываетъ своего неуваженія ко всей литературѣ, служившей и доселѣ служащей выраженіемъ этой гнили. Теоретики прямо и безстрашно уничтожаютъ въ лицѣ Пушкина всю, не только русскую поэзію, — гоня ее вонъ изъ жизни, — прямо ненавидятъ все то, что не велитъ непосредственно къ гражданской честности и матерьяльному благосостоянію, ненавидятъ философію какъ чужъ и срунду, ненавидятъ исторію, стремящуюся осмыслить то, что по ихъ теоріи есть только заблужденіе и препятствіе къ осуществленію ихъ идеала.

«Русскій Вѣстникъ» не сталъ въ такое прямое отношеніе къ жизни и къ литературѣ. Его вражда къ нимъ — не безусловная, какъ вражда теоретиковъ, и не пуританская, какъ вражда славянофильства. Идеалъ его узокъ въ сравненіи съ идеаломъ теоретиковъ и несамостоятеленъ въ сравненіи съ идеаломъ славянофильства.

Для «Русскаго Вѣстника», въ противоположность славянофильству, только европейская и притомъ англійская жизнь и только европейская литература суть явленія дѣйствительныя и законныя; русская же жизнь и русская литература, пока онѣ не доросли до европейскихъ и притомъ англійскихъ размѣровъ, — чистый вздоръ, къ которому можно относиться съ полнѣйшимъ равнодушіемъ, переходящимъ напослѣдокъ въ цинизмъ презрѣнія, ибо только такимъ цинизмомъ и можно объяснить помѣщеніе «Прекрасныхъ астраханокъ» въ многоученомъ журналѣ. Ему ни въ жизни нашей, ни въ литературѣ ничто не дорого: нынче редакція помѣститъ, и помѣститъ съ большимъ удовольствіемъ произведеніе Тургенева, Островскаго, Толстого или Кохановской, но никогда не полнитъ перчатки за кого-либо изъ этихъ писателей, а завтра, или пожалуй и нынче же, въ той же книжкѣ что-нибудь вродѣ «Корнета Отлетаева» или «Битвы русскихъ съ кабардинцами». Оно и понятно.

Какъ произведенія упомянутыхъ писателей, такъ и произведенія г. Кугушева, г-жи Нарской или г. Зряхова, передъ ихъ высшимъ, *аглицкимъ* (единственно патентованнымъ) воззрѣніемъ — величны равно безконечно-малыя. Потому же самому *нынче* напимѣръ они вооружились за самую легкую тѣнь, брошенную на личность Грановскаго, ибо *нынче* такъ было или казалось имъ нужно; *завтра* они съ полнѣйшимъ равнодушіемъ дозволятъ г. Лонгинову обличать *мѣсеушенія* Бѣлинскаго.

Съ другой стороны, въ противоположность взгляду теоретиковъ, для «Русскаго Вѣстника» одна только *русская* жизнь и одна только *русская* литература ничтожны до того, что ими не стоитъ и заниматься. Жизнь европейская, преимущественно же англійская, дѣло другое. Объ этой жизни и о ея литературѣ

какъ можно смѣть

Свое сужденіе имѣть?

Въ ней они нисколько не видятъ тѣхъ язвъ, которыя смѣло видить русскій взглядъ теоретиковъ, несклоняющихся ни передъ какимъ авторитетомъ. Извѣстныя явленія русской жизни и литературы «Русскій Вѣстникъ» пожалуй и приметъ благосклонно-величественно подъ свою «мышцу крѣпкую и руку высокую», поколику эти явленія, какъ напимѣръ Пушкинъ, сближали насъ съ развитою жизнью, — но дасть этимъ явленіямъ такое мизерное значеніе, что лучше бы онъ ужъ ихъ и не защищалъ. Точно по головкѣ погладить да скажетъ: «пай, дитя, а кошка — дура!» разумѣя подъ дурую-копкою всякое самостоятельное проявленіе мысли и жизни. О *кошкѣ* онъ впрочемъ до сихъ поръ благоразумно молчалъ, молчалъ и объ Островскомъ и о Писемскомъ и даже о народномъ значеніи Пушкина; но вѣроятно недолго *пребудетъ* въ таинственномъ молчаніи. Въ нынѣшнемъ году уже разверзлись врата капища и начались экскурсіи въ область русской словесности.

Да! самый «Русскій Вѣстникъ», и тотъ нашолъ невозможнымъ совершенно молчать о литературѣ: фактъ поистинѣ замѣчательный! Начавши же говорить о литературѣ, журналъ, если онъ только захочетъ быть послѣдователемъ, не можетъ не обнаружить къ ней того презрѣнія, которое скрывалось до сихъ поръ подъ маскою безразличія и равнодушія, — или самая сущность его воззрѣній должна радикально измѣниться.

Въ жизни «Русскаго Вѣстника» бывали кризисы, во время которыхъ мелькали временами замѣчательные симптомы коренной перемѣны во взглядѣ; но эти симптомы были фальшивые. Взгляду «Русскаго Вѣстника» измѣниться нельзя: послѣ кризисовъ только

обнаруживалась все болѣе и болѣе патентованная и прочная англійская подкладка, хотя самые кризисы были такого свойства, что могли измѣнить направленіе журнала.

Первый такой кризисъ былъ тогда, когда изъ журнала выдѣлились ультра-западные элементы и сосредоточились въ «Атенеѣ».

Называя эти элементы ультра-западными, я разумѣю западничество въ его конечномъ у насъ развитіи, т. е.

1) *Въ идеѣ централизаціи*, передъ идеаломъ которой, по ученію Бѣлинскаго въ половинѣ сороковыхъ годовъ и по ученію Атенея въ концѣ пятидесятихъ, — «Турція, какъ организованное государство предпочитается «племенному сброду» славянства, и Австрія, въ лицѣ ея жандармовъ, играетъ въ отношеніи къ этому племенному сброду цивилизаторскую роль».

2) *Въ идеѣ отвлеченнаго человѣчества*, передъ которымъ исчезаютъ народы и народности.

3) *Въ идеѣ Сатурна-прогресса*, постоянно пожирающаго чадъ своихъ, — идеѣ, энергически выраженной Бѣлинскимъ въ положеніи, что «гвоздь, выкованный руками человѣческими, дороже и лучше самаго лучшаго цвѣтка въ природѣ».

Ультра-западники «Атенея» далеко были и сами не послѣдовательны въ своемъ ученіи. Послѣднюю изъ этихъ идей, по крайней мѣрѣ такъ, какъ она смѣло и рѣзко выразилась въ положеніи Бѣлинскаго, они поднять не смѣли. Ее подняли и повели дальше теоретики, повели честно до знаменитыхъ положеній: а) что яблоко нарисованное никогда не можетъ быть такъ вкусно, какъ яблоко настоящее и что красавица писаная никогда не удовлетворитъ насъ такъ, какъ красавица живая; и б) что все, считавшееся до сихъ поръ за важное и даже за главное въ жизни человѣчества: философія, исторія, поэзія, искусство — въ сущности вздоръ, что все дѣло въ гражданской честности и въ матерьяльномъ благосостояніи. Ультра же западники взяли себѣ въполнѣ только идею централизаціи и въполнѣ идею отвлеченнаго человѣчества. Удовлетворившись инстинктивной враждой къ нашей, славянской національности, они указали границы понятію о человѣчествѣ. Человѣчество для нихъ есть германо-романская національность и передъ жизнью этой національности — наша русская жизнь есть и была звѣриная, а не человѣческая. Вотъ все, до чего они дошли.

Между тѣмъ на этомъ самомъ крайнемъ пунктѣ ученія западный лагерь долженъ былъ разъединиться.

Самая германо-романская національность выработала своимъ развитіемъ двѣ идеи:

1) *идею централизаціи*, т. е. поглощенія личности общиною, все

равно будетъ ли эта община папство, ветхозавѣтная республика пуританъ, тероръ конвента или фаланстера Фурье,

и 2) *идею свободы въ полнѣйшемъ развитіи личности и національности* до самыхъ крайнихъ предѣловъ: до потери протестантскими церквами сознанія своего происхожденія и возстановленія этого сознанія путемъ ученаго изслѣдованія, надъ чѣмъ такъ зло и остроумно смѣялся покойный Хомяковъ, и до освященія въ Англіи всякихъ предразсудковъ политическихъ, общественныхъ и нравственныхъ потому только, что они, эти предразсудки, — національные, англійскіе.

Ультра-западные элементы первобытнаго «Русскаго Вѣстника» выбрали по своимъ личнымъ вкусамъ и наклонностямъ первую идею, но не были послѣдовательны въ своемъ ученіи. Поэтому они стали скоро совершенно ненужны. Ихъ смѣнили на сценѣ теоретики, люди свѣжіе, горячіе и рѣшительные, которыхъ не остановили германо-романскій идеалъ общественности.

Другіе элементы, оставшіеся въ «Вѣстникѣ» и плотнѣе въ немъ сосредоточившіеся, принялись за разработку другой идеи.

Началась вторая эпоха существованія журнала.

Въ эту эпоху сила его возрасла еще больше. Направленіе не потеряло, а напротивъ много выиграло вслѣдствіе отдѣленія отъ него примѣси враждебныхъ элементовъ. Силу однако получилъ «Вѣстникъ» болѣе отрицательною, чѣмъ положительною стороною своей дѣятельности, а именно своей враждою къ централизациі. Вражда дѣйствительно выражалась съ такою энергіею и послѣдовательностью, что даже славянскія національности приняты были журналомъ подъ милостивое покровительство... Тутъ въ нѣкоторомъ родѣ были сожжены даже корабли.

Позвольте по сему поводу сдѣлать маленькую эпизодическую вставку. Помните ли вы какъ загрызъ Байборода профессора Крылова за статью его, помѣщенную въ «Русской Бесѣдѣ»? Вѣроятно и тогда многіе догадывались, что дѣло идетъ не объ equester и equestris и не о тому подобныхъ спорныхъ спеціальностяхъ. Изъ-за этого не топчутъ людей въ грязь. Самый духъ статьи тоже не могъ подать повода къ озлобленію. Вѣдь только во второй статьѣ своей доведенный до ожесточенія своими антагонистами, Крыловъ началъ предъ ними заноситься. Въ первой же, кромѣ своеобразнаго взгляда на развитіе Рима да эпизодической мысли о возможности федеративнаго будущаго для славянъ въ XII вѣкѣ — ничего не было такого, что могло бы возбудить сильный антагонизмъ. Правда, Крыловъ своей оригинальной и надобно сказать правду, могущественной діалектикой въ пухъ и прахъ разбивалъ

централизованный взгляд г. Чичерина на исторію Россіи, — но не изъ-за личности же г. Чичерина поднятъ былъ ученый скандалъ. Дѣло въ томъ, что «Вѣстникъ» *первоначальнаго* состава еще стоялъ за централизацію, и такимъ его элементамъ, какъ гг. Коршъ, Соловьевъ, Чичеринъ, мысль о томъ, что татары — не благодѣтели наши а задержатели нашего развитія, мысль, которая влекла за собою историческое развѣнчаніе прогрессистовъ: Ивана IV и его сотрудниковъ, — была рѣшительно «непереносна». Вотъ въ чемъ была и вся «штука», а ужъ конечно не въ *ordo equestris*. А между тѣмъ эта «штука» заставила замѣчательнаго, но какъ видно не сильнаго характеромъ мыслителя выйти изъ себя и въ діалектическомъ увлеченіи развиться другою статьею, поистинѣ уже постыдною. Чтоже касается до первой статьи, то она, встрѣченная враждою «Вѣстника» первой эпохи — въ «Вѣстникѣ» второго образованія — въ эпоху вражды съ централизаціей, — могла бы безъ всякаго сомнѣнія занять самое почетное мѣсто. Въдѣ на страницахъ «Вѣстника» второй эпохи появлялись временами ультра-національныя, даже ультра-славянскія и даже — *credite, posteri!* — ультра-русскія статьи гг. Палаузова и Берга.

Многіе добрые люди стали уже думать, что «Русскій Вѣстникъ» рѣшительно хочетъ сдѣлаться національнымъ журналомъ и готовы были отъ всей души признать за нимъ руководящее значеніе не только въ политикѣ, но въ жизни вообще и пожалуй въ литературѣ.

Эти добрые люди ошиблись.

У «Русскаго Вѣстника» вторичнаго образованія была только отрицательная послѣдовательность. На положительную же, какъ оказалось впоследствии, у него нехватало такта или энергій.

«А счастье было такъ возможно,
Такъ близко!..»

говоря словами Татьяны; руководящее значеніе, до котораго онъ съ самаго начала заявилъ себя охотникомъ, могло окончателно за нимъ утвердиться!.. Еслибы у журнала стало силы поднять идею національности въ ея широкомъ значеніи, — первенство его, даже до сихъ поръ, было бы несомнѣнно. Ни взглядъ теоретиковъ, несмотря на свою послѣдовательность, ни взглядъ славянофильства, несмотря на свою крѣпкую почву, не устояли бы противъ этого вполне практическаго взгляда. Утопіи о соединеніи лупы съ землею, очевидныя для всякаго разумѣющаго «смыслъ писаній» подъ безпощаднымъ отрицаніемъ теоретиковъ; суровый пуританизмъ и исключительная любовь къ однимъ элементамъ народной жизни, съ нескрываемою враждою къ остальнымъ, — столь

же очевидныя свойства славянофильства, — переваримы не для всякаго желудка и если до сихъ поръ перевариваются, то во имя отрицанія, въ которомъ всё мы согласны. Простое же, чистое понятіе о національности, принятое со всёми его жизненными послѣдствіями — хотябы то даже съ петровской реформой и купеческимъ бытомъ «Темнаго царства» — не оскорбляло бы никакихъ кровныхъ симпатій, симпатій къ жизни и къ искусству.

Въ такомъ случаѣ, т. е. выкинувъ флагъ широкаго понятія національности, «Русскій Вѣстникъ» неминуемо долженъ былъ бы выйти изъ своего неопредѣленнаго и безразлично-равнодушнаго отношенія къ литературѣ, и притомъ выйти не такъ, какъ онъ вынужденъ былъ въ послѣднее время. Руководящее значеніе прочно для направлений только тогда, когда они опираются на жизнь и литературу, когда высшія точки ихъ суть высшія точки самой жизни и самой литературы, когда литература народа есть для нихъ выраженіе національной, такъ или иначе складывающейся или уже сложившейся жизни. Тотъ фактъ, что при всемъ равнодушіи къ национальной жизни и национальной литературѣ, «Вѣстникъ» пользовался однако долго несомнѣннымъ первенствомъ, — поясняется только нашимъ напряженнымъ общественнымъ состояніемъ. Цѣlostное развитіе ушло такъ-сказать на время въ глубь, на задній планъ, а нѣкоторыя стороны его рѣзко и напряженно выдвинулись впередъ: вопросы крестьянскаго быта, судопроизводства, финансовъ, общественной гласности и проч. Эти выступающіе вопросы «Русскій Вѣстникъ» поднималъ въ свое время такъ сильно и такъ дѣльно, что съ нимъ всё благомыслящіе люди соглашались, тѣмъ болѣе что разработка вопросовъ была большею частію отрицательная, указывавшая преимущественно на наши недостатки; положительная же сторона, патентованная «аглицкая» подкладка еще не проступала наружу такъ явно какъ теперь.

Между прочимъ успѣху и вліянію журнала немало помогла и литература, непользующаяся его большимъ сочувствіемъ. Я говорю впрочемъ не о произведеніяхъ Островскаго, Тургенева, Толстого, Кохановской: то были рѣдкіе гости въ «Вѣстникѣ». Но въ немъ болѣе года являлся дѣятелемъ единственный истинно-даровитый и замѣчательный обличитель — Щедринъ. Какимъ образомъ этотъ писатель, своей глубокой любовью къ народу близкій къ славянофильству, а смѣлою послѣдовательностью въ отрицаніи неуступающій теоретикамъ, попалъ въ «Вѣстникъ», и какъ «Вѣстникъ» печаталъ нѣкоторые изъ его рассказовъ, напримѣръ «Аринушку» и «Марфу Кузьмовну», — это можетъ быть объяснено только неустановленностью, неопредѣленностью нашихъ позрѣній вообще.

Пока дѣло идетъ объ отрицаніи, мы все сходимся, исключая развѣ изъ числа всехъ г. Аскоченскаго съ К°. Мы часто, во имя этого общаго и всеми равно раздѣляемаго отрицанія, готовы взглянуть сквозь пальцы на совершенно несимпатическія положительныя стороны, проглядывающія у того или другого изъ отрицателей. До поры до времени, мы еще не можемъ и нѣкоторымъ образомъ не-вправѣ быть послѣдовательными.

А между тѣмъ необходимость послѣдовательности рано или поздно, но все-таки неминуемо ждетъ насъ въ будущемъ, быть-можетъ и недалекомъ. Слова Любима Торцова насчетъ запоя: «нельзя перестать,—на такую линію попалъ» относятся и къ ходу направленія мысли, если точно это направленіе, а не праздноштаніе мысли.

Факты, свидѣтельствующіе о необходимости послѣдовательности, уже и теперь являются верѣяко передъ нашими глазами. Разошелся напимѣрь Щедринъ съ «Вѣстникомъ» и не сойдется съ нимъ никогда Островскій; разошелся окончательно Тургеневъ съ «Современникомъ» и не расходитъ съ нимъ, несмотря на свою положительную народность, Островскій; вѣдь это все явленія важныя, явленія такіа, которыя стыдно объяснять закулисными тайнами литературныхъ мірковъ: вѣдь «претить» отъ такихъ милыхъ объясненій. Тутъ есть нѣчто высшее закулисныхъ тайнъ, а закулисныхъ тайны, хотьбы даже онѣ и были, давно слѣдуетъ «по-боку»! Высшее же есть послѣдовательность логики направленій, все равно сознательная или безсознательная. Для будущаго будетъ странно не то, что Тургеневъ напимѣрь разошелся съ направленіемъ «Современника», а то, что въ «Современникѣ», прямо отрицающемъ какъ вещи ненужныя: философію исторію, поэзію, народность — явились и «Дворянское гнѣздо», и статья «о Донъ-Кихотѣ и Гамлетѣ». Странно не то, что во все существованіе «Вѣстника» въ немъ явилась всего только одна комедія Островскаго: «Въ чужомъ пиру похмѣлье», но то, что и эта одна комедія въ немъ явилась. И это будущее, которому странно покажется многое, что намъ не казалось странно, и наоборотъ, совершенно ясно будетъ многое, въ чемъ мы путались, — оно уже начинается, оно уже заявляетъ необходимость логической послѣдовательности.

Въ особенности замѣчательно то, что послѣдовательность выражается непременно по отношенію къ литературѣ. Пренебрегайте ею какъ «Русскій Вѣстникъ», отрицайте ея значеніе вообще какъ теоретики, презирайте ее какъ живое выраженіе ложной жизни, подобно славянофильству, вы все-таки какъ только выйдете изъ чистаго отрицанія на положительную почву — непременно по отноше-

нію къ ней выскажете ваши симпатіи и антипатіи. И нельзя иначе. Она одна есть *положительное* выраженіе жизни, вась окружающей. Нужды нѣтъ, что она есть *идеальное* выраженіе этой жизни. Мы давно кажется перестали вѣрить, чтобы *идеальное* было нѣчто отвлеченное отъ жизни. Мы знаемъ всѣ, какъ знаетъ даже Печоринъ, что идея есть явленіе органическое, что она носится въ воздухѣ, которымъ мы дышемъ, что она имѣетъ силу, крѣпкую какъ обоюдоострый мечъ.

Все идеальное есть ничто иное какъ аромать и цвѣтъ реальнаго, и какъ таковое, непременно выражается въ литературѣ. Противенъ вамъ запахъ и не нравится цвѣтъ, вы въ сущности враждуете съ почвою и воздухомъ. «На зеркало нечего пѣнять, коли рожа крива», повторилъ бы я гоголевскій эпиграфъ къ «Ревизору», если бы съ понятіемъ о зеркалѣ не связывалось понятіе о слѣпой безсознательности литературы или точнѣе сказать — искусства. Вы не литературой, а самой жизнью, ей отражаемою, недовольны, но ваше недовольство жизнью непременно выразится такъ или иначе по отношенію къ литературѣ.

Посмотрите какъ рѣзко начинаютъ уже обозначаться наши различныя направленія, какъ настоятельна становится для каждого необходимость сжигать за собою корабли. Развѣ можно въ одно и то же время вполне сочувствовать Пушкину и вмѣстѣ съ тѣмъ сочувствовать славянофиламъ или теоретикамъ? сочувствовать Островскому и вмѣстѣ сочувствовать англоманамъ?

Потому что, вѣдь что такое Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Островскій, въ переводѣ на чистый и ясный языкъ? Пушкинъ, это узаконеніе поэзіи въ жизни, идеализма мысли и ощущеній, и вотъ почему онъ для теоретиковъ «поэтъ побрякушекъ»; Пушкинъ, это ваше право на Европу и на нашу *европейскую* національность, а вмѣстѣ съ тѣмъ и право на нашу самобытную особенность въ кругу другихъ европейскихъ національностей, — не на фантастическую и изолированную особенность, а на ту, какую Богъ далъ, какая сложилась изъ напора реформы и отсадковъ коренного быта, и вотъ почему его не любятъ славянофилы. Пушкинъ, это нашъ стройно и полно выразившійся протестъ противъ догматизма и «жестокихъ нравовъ», повершитель дѣла многихъ приснопамятныхъ протестантовъ, отъ Ломоносова до Карамзина, и вотъ почему онъ для гг. Бурачка, Аскоченскаго и всей компаніи мракобѣсія ненавистнѣй даже демоническаго Лермонтова. А вмѣстѣ съ тѣмъ наконецъ Пушкинъ-Бѣлкинъ, Пушкинъ «Капитанской дочки», «Дубровскаго», «Родословной» и т. д.; узаконитель нашей почвы, преданій, реакція нашей родной обломовщины, которая, какова она нинаестъ,

все-таки жизненный штольцовщины, и вотъ почему холодны къ нему ультра-реформаторы. Съ другой стороны Лермонтовъ, это узаконеніе нашей страстности, того тревожнаго начала, безъ котораго бы мы закисли въ общинномъ смирѣніи славянофильства и въ дешево-умилительныхъ примиреніяхъ у дверей кабака. Что такое въ настоящую минуту Гоголь въ переводѣ на прямой языкъ, — трудно еще опредѣлить съ полною ясностью; но что во всякомъ случаѣ дѣло идетъ теперь не о его великой художественной силѣ, а о чемъ-то другомъ, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Для многихъ рѣшительно непереваримы статьи о немъ г. Кулиша; но переваримы онѣ или нѣтъ, а ихъ не разобьешь голословными ругательствами, въ которыхъ подвизается г. Максимовичъ. Г. Кулишъ сказалъ только то, что большая половина украинской народности давно уже чувствовала; равно какъ Писемскій въ своей статьѣ о второй части «Мертвыхъ душъ» первый смѣло высказалъ то, что чувствовали многіе русскіе люди, — то, что Гоголь не изобразитель великорусской жизни. Еще прежде Писемскаго, и тоже художникомъ, но не въ статьѣ, а въ романѣ, былъ сдѣланъ искренно, но какъ-то робко намекъ на безсердечность гоголевскаго юмора... намекъ, въ ту пору едва замѣченный... Что такое наконецъ Островскій, этотъ, со всѣми его недостатками, единственный *новый* и народный нашъ современный писатель? Съ одной стороны историческая поправка Гоголя по отношенію къ русскому быту, почему онъ и ненавистенъ всѣмъ западникамъ, даже умѣреннымъ. Съ другой стороны онъ — продолжатель по духу, при всемъ своеобразіи формъ, дѣла Пушкина и всѣхъ протестантовъ, почему и не имѣетъ счастья правиться славянофильству. Для него народъ — не крестьянство и старое боярство, а просто народъ. Какъ поэтъ народный, онъ не вдался въ соблазнительное поприще повѣствователя или драматурга изъ крестьянскаго быта, а взялъ народный бытъ въ его единственно самобытномъ выраженіи, несѣненномъ крѣпостнымъ правомъ, какъ крестьянство, и чужеземнымъ кафтаномъ, какъ бюрократія, — въ купечествѣ, и равно видитъ въ немъ какъ уродливыя, такъ и правильныя стороны развитія... Теоретики поняли и глубоко поняли его безпощадность въ изображеніи уродливостей «Темнаго царства», но «лучъ свѣта въ темномъ царствѣ» признали какъ-то неполно, какъ-то вынужденно.

Теоретики... Когда я пишу теперь это слово, — одного изъ теоретиковъ, едвали не самаго даровитаго изъ нихъ, уже нѣтъ болѣе. Нѣтъ... когда еще такъ много пути лежало передъ нимъ, когда еще такъ много и могъ и долженъ былъ онъ сказать... Замолкъ благородный и энергически-честный голосъ, молодая сила сошла

въ пѣдра земли, — голосъ, хотя и недавній, но уже «со властію», сила хотя и отрицательная, но народная... Эта дань понятнаго сожалѣнія о даровитомъ дѣятелѣ не значитъ съ моей стороны того, чтобы смерть Добролюбова считалъ я событіемъ, обезоруживающимъ взглядъ теоретиковъ. Этому взгляду еще много предстоитъ дѣла — и дѣлатели, нѣтъ сомнѣнія, найдутся.

Вотъ направленіе «Русскаго Вѣстника» — дѣло другое. За него начинаютъ бояться теперь самые жаркіе его поклонники.

Послѣ второй совершившейся въ немъ революціи, т. е. послѣ выдѣленія изъ него элементовъ, образовавшихъ «Русскую Рѣчь», его третичное образованіе не обнаружило въ немъ никакого существеннаго, живого содержанія, кромѣ англійской подкладки.

А между тѣмъ, именно въ этотъ моментъ, будь журналъ послѣдователенъ, — онъ, освободясь окончательно отъ всѣхъ своихъ ультра-западныхъ элементовъ, могъ стать въ самыя прямыя отношенія къ національной жизни и національной литературѣ, стать оплотомъ національности вообще и русской національности въ особенности. Ему предстояла и серьезная борьба, и можетъ-быть прочная побѣда съ утвержденіемъ руководящаго значенія.

Почему въ самомъ дѣлѣ выдѣлилась изъ него «Русская Рѣчь»? неужели же только изъ-за статьи г-жи Туръ о madame Свѣчиной? Пожалуй и изъ-за статьи, но во всякомъ случаѣ статья была только внѣшнимъ поводомъ. Для «Русскаго Вѣстника» — такъ по крайней мѣрѣ должно полагать — обнаружилось, что ярая вражда съ французскимъ ультрамонтанствомъ въ предѣлахъ Россіи — впервые донкихотство, а вовторыхъ въ основахъ своихъ расходится съ серьезнымъ философскимъ взглядомъ коренной редакціи на религіозные интересы. Взглядъ высказался не прямо, а въ видѣ намекъ и очень скоро погибъ въ хламѣ печальнѣйшихъ домашнихъ дразговъ; но онъ высказался, онъ могъ быть шагомъ на новую ступень развитія. Шагомъ же этимъ редакція могла развязать себѣ руки на серьезную борьбу и съ ультра-западничествомъ, и съ мракобѣіемъ, и съ теоретиками, и съ славянофильствомъ.

Но борьба могла быть начата только во имя философіи, искусства и національности — этихъ вѣчныхъ знаменъ «развращеннаго» человѣчества, до тѣхъ поръ пока луна не соединится съ землею.

Время для начатія борьбы было самое удобное и благоприятное. Мѣсяца за два, много за три, до открытія г-жою Туръ походовъ на «Русскій Вѣстникъ», раздался запросъ г. Дудышкина о томъ: народный ли поэтъ Пушкинъ? Незадолго также вышелъ и томъ «Русской Бесѣды», въ которомъ рѣзко обнаружилось произвольное обращеніе славянофильства съ народнымъ бытомъ, даже въ самыхъ

искреннихъ его выраженіяхъ, пѣсняхъ. Чтоже касается до теоретиковъ, то они тогда поистинѣ свирѣнствовали надъ философій, исторіей и искусствомъ.

Всякое направленіе живетъ борьбою, въ борьбѣ пріобрѣтаетъ и силы, и яркую особенность, и авторитетъ. Плохо то направленіе, которому незачто и не съ кѣмъ бороться: даже оно въ такомъ случаѣ и не направленіе, ибо или совсѣмъ безсильно, или примыкаетъ къ другому, сильнѣйшему, значить попусту толчется на свѣтѣ, отвлекая только задаромъ силы отъ ихъ настоящаго средоточія. Признакъ самобытности и силы направленія — борьба... Это чувствовалъ и чувствуетъ «Русскій Вѣстникъ»; но за что же осталось ему бороться? Прежде, въ свою первоначальную эпоху, онъ боролся вообще за свѣтъ и свободу. Отдѣлились элементы, образовавшіе мрачный «Атеней», — «Вѣстникъ» сталъ бороться противъ централизаціи за народности, мѣстности, исторію, избѣгая впрочемъ прямо говорить, *за что* онъ борется, и только смѣло обличая то, *противъ чего* онъ борется. Желѣзная логика фактовъ влекла его къ дальнѣйшей послѣдовательности; отъ него отдѣлились послѣдніе элементы, препятствовавшіе ему поднять знамя народности. Положеніе его опредѣлялось окончательно.

Но на то, чтобы смѣло и послѣдовательно выкинуть флагъ національности, у «Русскаго Вѣстника» опять-таки не стало такта или энергій. А между тѣмъ, такъ какъ одной англійской подкладкой, хоть и патентованной, не проживешь, потому что надъ этой подкладкой удачно смѣялся даже и фельетонистъ трактирнаго «Развлеченія», то все-таки надобно было сойти съ олимпійскихъ высотъ на арену борьбы...

А. ГРИГОРЬЕВЪ

ЯВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРОПУЩЕННЫЯ НАШЕЙ КРИТИКОЙ ⁽¹⁾

ГРАФЪ Л. ТОЛСТОЙ И ЕГО СОЧИНЕНІЯ

- 1) Военные расказы. 2) Дѣтство и отрочество. 3) Юность, первая половина.
4) Записки маркера. 5) Мятель. 6) Два гусара. 7) Встрѣча въ отрядѣ. 8) Люцернъ. 9) Альбертъ. 10) Три смерти. 11) Семейное счастье.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАФА Л. ТОЛСТОГО

Въ первой статьѣ своей я, опредѣливши общее значеніе дѣятельности графа Л. Толстого, былъ долженъ поневолѣ пуститься въ разысканіе причинъ того страннаго факта, что эта въ высокой степени своеобразная и замѣчательная дѣятельность прошла незамѣченною передъ нашей критикой. Виною тому, какъ старался доказать я, было то, что критика наша перестала быть критикой литературною, т. е. другими словами говоря, что литература перестала быть для направленій нашей критики полнѣйшимъ выраженіемъ и откровеніемъ жизни.

Я намекнулъ уже, что самая дѣятельность замѣчательно-даровитаго писателя разошлась съ требованіями различныхъ болѣе или менѣе теоретическихъ направленій, что самое появленіе нѣкоторыхъ изъ его вещей, каковы напримѣръ «Альбертъ» и «Люцернъ» въ журналѣ теоретиковъ — одинъ изъ странно-вопіющихъ фактовъ для мыслящаго наблюдателя.

⁽¹⁾ Время. 1862. № 1.

Кн. IX. — Отд. II.

Сен. 1862

Но въѣдъ ни «Альбертъ», ни «Люцернъ», ни «Три смерти», ни наконецъ «Семейное счастье» не составляютъ въ дѣятельности самого писателя какого-либо крутого поворота. Эти произведенія — прямое и притомъ не только логическое, но органическое послѣдствіе того же самаго психическаго процесса, который раскрывается въ предшествовавшихъ его произведеніяхъ, — завершеніе того же анализа, который такъ поразилъ всѣхъ въ этихъ предшествовавшихъ произведеніяхъ...

Дѣятельность Толстого, какъ она до сихъ поръ обозначалась, можно раздѣлить собственно на три категоріи: 1) чисто-аналитическія произведенія, каковы «Дѣтство и отрочество», «Юность», 2) художественныя этюды, свидѣтельствующіе о необыкновенной силѣ и особенности таланта, но имѣющіе совсѣмъ характеръ этюдъ, характеръ чисто-внѣшній, каковы «Мятежъ» и «Два гусара», и 3) на результаты анализа, болѣе или менѣе удачныя и полныя, въ которыхъ художникъ стремится уже къ созданію самостоятельныхъ типовъ, къ воплощенію въ образы того, что добыто имъ посредствомъ анализа. Это или попытки, хотя и удивительныя, но нѣсколько голыя, догматическія, каковы «Записки маркера», «Встрѣча въ отрядѣ», «Альбертъ», «Люцернъ», «Три смерти», или совершенно-органическія, живыя созданія: «Военные рассказы» и «Семейное счастье». Разумѣется такое раздѣленіе справедливо только по отношенію къ общему характеру этихъ произведеній. Элементъ органическій, элементъ художественнаго творчества присутствуетъ, и притомъ присутствуетъ въ замѣчательной степени въ произведеніяхъ совершенно аналитическихъ; элементы анализа и притомъ самаго смѣлаго входятъ и въ этюды, ибо вся дѣятельность Толстого, вмѣстѣ взятая, есть живая, органическая дѣятельность. Раздѣленіе принято здѣсь только какъ руководная нить для разъясненія нравственно-художественнаго процесса.

Толстой, какъ уже сказано было въ первой статьѣ, кипнулъ прежде всего всѣмъ въ глаза своимъ беспощаднымъ анализомъ. Анализъ поразилъ всѣхъ какъ въ «Дѣтствѣ и отрочествѣ», такъ и въ самыхъ «Военныхъ рассказахъ», — первомъ полнымъ и цѣльнымъ художественномъ выраженіи психическаго процесса.

Какого же свойства этотъ анализъ? съ чего онъ начинается, какъ выражается, куда ведетъ и чѣмъ онъ различенъ отъ анализа другихъ художниковъ-аналитиковъ? Вотъ вопросы, которые должны поставить себѣ для разрѣшенія критика.

У художника, если онъ дѣйствительно художникъ, анализъ не можетъ быть голый: онъ облачается непременно въ поэтическіе образы; онъ приковывается даже иногда къ одному образу, пре-

слѣдующему художника во все продолженіе его дѣятельности и видоизмѣняющемуся сообразно съ ея различными фазисами. Иногда этотъ образъ, этотъ нравственный идеалъ самого художника, раздвоится, какъ напримѣръ у Пушкина — на Онегина и Ленскаго, у Лермонтова — на Арбенина и Звѣздича, на Печорина и Грушницкаго. Раздвоеніе образа есть конечно всегда признакъ движенія впередъ самого художника, становящагося въ критическое отношеніе къ преслѣдующему его образу, и результатами своими оно, это раздѣленіе, гораздо богаче мрачно-сосредоточенной односторонности, которая могла вполне узакониться можетъ-быть только разъ, въ лицѣ Байрона, — да и у того типъ нѣсколько двоятъ, по крайней-мѣрѣ по отношенію къ краскамъ — на Гарольда и Донъ-Жуана.

Во всякомъ случаѣ у самыхъ объективныхъ, равно какъ у самыхъ субъективныхъ художниковъ можно доискаться одного главнаго, преслѣдующаго ихъ образа. Чѣмъ художникъ по натурѣ шире, тѣмъ шире и его идеалъ, его любимый образъ, тѣмъ онъ народнѣе; но что нравственная жизнь художника воплощается въ извѣстномъ, видоизмѣняющемся и часто двоящемся образѣ, — это не подлежитъ сомнѣнію.

У Толстого точно также есть этотъ преслѣдующій его образъ, къ которому приковался его анализъ, то лицо, отъ имени котораго рассказываетъ онъ «Дѣтство, отрочество и юность» и которое въ «Семейномъ счастьѣ» мѣняеть только полъ и является женщиной. Образъ этотъ раздвоится — но раздвоится только внѣшне — въ «Запискахъ маркера», въ «Людервѣ», являясь княземъ Нехлюдовымъ и представляя только крайнія, послѣднія грани того анализа, который отличаетъ героя «Дѣтства, отрочества и юности» отъ другихъ современныхъ героевъ... Онъ и Нехлюдовъ — вовсе не то, что Онегинъ и Ленскій, что съ другой стороны Пушкинъ-лирикъ и Пушкинъ-Бѣлкинъ; не то, что Арбенинъ и Звѣздичъ, изъ сліянія которыхъ является Печоринъ, и не то, что Печоринъ и Грушницкій, т. е. идеалъ и народія. Нехлюдовъ — крайняя грань цѣльнаго психическаго процесса, и мало того, — жизненное послѣдствіе той особенной обстановки такъ-называемаго аристократическаго мірка, въ которой онъ заключенъ какъ въ раковинѣ и изъ которой выбивается очевидно герой «Дѣтства, отрочества и юности»... Во всякомъ случаѣ психическій процессъ не раздвоится, а только доходитъ до своихъ крайнихъ граней.

Предполагая, что всѣ читатели знакомы съ произведеніями Толстого, по крайней-мѣрѣ съ главными изъ нихъ (ибо читатели вовсе незнакомые съ ними по всей вѣроятности не станутъ читать мой

статьи), я не буду приводить выписокъ и ограничусь, какъ всегда, только указаніями.

Основная черта, поразившая всѣхъ въ психическомъ процессѣ, раскрывавшемся въ произведеніяхъ Толстого, была — повторяю еще разъ — анализъ необыкновенно новый и смѣлый, анализъ такихъ душевныхъ движеній, которыхъ никто еще не анализировалъ. Не «пошлость пошлаго человѣка» обличалъ Толстой подобно Гоголю; не смѣялся онъ болѣзненнымъ смѣхомъ Гамлета щигровскаго уѣзда надъ несостоятельностью такъ-называемаго развитаго человѣка, какъ Тургеневъ; не противопоставлялъ онъ, какъ Писемскій, здоровый, хотя и грубоватый, хотя и нѣсколько измѣненный взглядъ на жизнь мишурѣ сдѣланныхъ, заказныхъ или подогрѣтыхъ чувствованій; не относился, какъ Гончаровъ, къ идеализму во имя узкой практичности, къ правдой мысли во имя узкаго и условнаго дѣла, — но вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовалось всѣми, что у него есть что-то общее со всѣми исчисленными стремленіями, что онъ — разумѣется полусознательно, полубезсознательно, какъ всякій художественный талантъ — разрабатываетъ одну и ту же съ поименованными художниками задачу эпохи. Близкій къ Тургеневу поэтическою нѣжностью чувства и глубокою симпатіею къ природѣ, но діаметрально противоположный ему своей суровой трезвостью взгляда, безпопадною ко всѣмъ мало-мальски необыденнымъ ощущеніямъ, своей враждою ко всякой фальши, какъ бы она ни была блестяща, — онъ этими послѣдними качествами былъ бы всего ближе къ Писемскому, еслибы этотъ реализмъ былъ ему *прирожденъ*, а не порожденъ анализомъ. Своимъ внѣшнимъ, враждебно-недовѣрчивымъ отношеніемъ къ идеализму онъ былъ бы сходенъ съ Гончаровымъ, еслибы заказнымъ образомъ поставилъ себѣ идеальчикъ въ практичности. Съ другой стороны, своей безпопадностью къ пошлости, таящейся нетолько въ пошломъ, но во всякомъ человѣкѣ, онъ какъ-будто развиваетъ задачи Гоголя, но онъ не плачетъ ни о какомъ разбитомъ кумирѣ, ни о какомъ условно-прекрасномъ человѣкѣ.

Общаго у него со всѣми этими задачами эпохи одно: отрицаніе.

Отрицаніе чего?..

Да всего наноснаго, напускнаго въ нашемъ фальшивомъ развитіи. Отрицаніемъ онъ, по происхожденію и воспитанію разьединенный съ почвою, старается, какъ всѣ, дорыться до почвы, до простыхъ основъ, до первоначальныхъ слоевъ. Особенность его въ томъ, что онъ роется глубже всѣхъ другихъ. Онъ не удовлетворяется, какъ Тургеневъ, тѣмъ, чтобы издали благоговѣнно увидѣть почву и покло-

ниться ей въ восторгѣ Моисея, узрѣвшаго обѣтованную землю. Ему (для ясности позволю себѣ сказать примѣромъ) мало того чтобы почувствовать только черноземную силу въ Уварѣ Ивановичѣ, — онъ хотѣлъ бы разгадать и въ самомъ себѣ поднять эту сиднемъ спящую силу. Онъ не можетъ также, смахнувши слои фальшиваго идеализма, принять, какъ Гончаровъ, за слои настоящіе — столь же наносные, но гораздо болѣе грязные слои практичности и формализма; онъ не останавливается и на тѣхъ, повидимому прочныхъ, но въ сущности только заглубѣлыхъ слояхъ, на которыхъ твердою ногою стоитъ Писемскій; онъ такъ же мало способенъ симпатизировать положимъ хоть Задоръ-Мановскому или даже Павлу Бешметеву, какъ Ельчанинову и Бахтіарову, такъ же мало тетужкѣ ипохондрика Соломонидѣ, какъ и Дурнопечину... Съ идеалами же на воздухѣ, со всякимъ созиданіемъ сверху, а не снизу, съ тѣмъ что погубило нравственно и даже физически самаго Гоголя, онъ способенъ помириться всего меньше... Онъ только роется въ глубь, добросовѣстно роется, руководимый своимъ необычайнымъ анализомъ, и еще нелорывшись, кончаетъ пантенистическою скорбію «Люцерна», — скорбію за жизнь и ея идеалы, отчаяніемъ за все сколько-нибудь искусственное и сдѣланное въ душѣ человѣческой, отчаяніемъ очевиднымъ въ «Трехъ смертяхъ», изъ которыхъ самою нормальною является смерть дуба, суровою покорностью судьбѣ, вещающей цвѣта человѣческихъ чувствъ въ «Семейномъ счастьѣ», и затѣмъ — апатією, безъ сомнѣнія временною и переходною.

Апатія ждала непременно на срединѣ такого глубоко-искренняго психическаго процесса, но что она не конецъ его, — въ этомъ вѣроятно никто изъ вѣрующихъ въ силу таланта вообще и появившихъ силу таланта Толстого даже и не сомнѣвается. Недавно еще такое явленіе, какъ «Мертвый домъ», доказало намъ, что силы не умираютъ, не забиваются судьбою, а встаютъ могучѣе послѣ добровольной или принужденной инерціи.

Начала того отрицательнаго процесса, котораго Толстой является вмѣстѣ съ другими представителями и вмѣстѣ съ тѣмъ временною жертвою, лежатъ не въ Гоголѣ, а въ Пушкинѣ. Гоголь вмѣстѣ съ другими, хотя и глубже всѣхъ другихъ доводилъ до извѣстныхъ граней задачи, указанныя Пушкинымъ.

Говоря о Толстомъ какъ объ одномъ изъ самыхъ значительныхъ представителей нашего отрицательнаго процесса, не минуешь нѣко-

торого повторенія того, что уже нѣсколько разъ высказывалъ я о началѣ, объ исходной точкѣ этого процесса.

До сихъ поръ еще только въ цѣльной натурѣ Пушкина, въ ея борьбѣ съ различными тревожившими ее и пережитыми ею идеалами, заключается для насъ слово разгадки нашихъ стремленій.

Есть натуры, предназначенныя на то, чтобы намѣтить зарать грани процессовъ, набросать полные и цѣльные, хотя только очерками обозначенные идеалы, и такая-то именно натура была у Пушкина. Пушкинъ все наше перечувствовалъ — отъ любви къ загнанной старинѣ до сочувствій къ реформѣ, отъ нашихъ страстныхъ увлеченій блестящими, эгоистически-обаятельными идеалами до смиреннаго служенія Савелья («Капитанская дочка»), отъ нашего разгула до нашей жажды самоуглубленія, жажды «матери пустыни», и только смерть помѣшала ему воплотить наши высшія стремленія, весь духъ кротости и любви въ просвѣтленномъ образѣ Тазита, смерть, которая почти всегда уноситъ преждевременно набрасывателей многообъемлющаго и многосодержащаго идеала, которая унесла напримѣръ Рафаэля и Моцарта. Ибо есть какой-то тайный законъ, по которому недолговѣчно все разметывающееся въ ширину и коренится какъ дубъ односторонняя глубина.

Я говорилъ уже неразъ, что за исключеніемъ совершенно новыхъ въ литературѣ нашей явленій, имѣющихъ только общесторическую, преемственную связь съ Пушкинымъ, каковы со всѣми ихъ достоинствами и недостатками Кольцовъ, Островскій, Некрасовъ и Достоевскій, — въ нашей современной литературѣ нѣтъ ничего истинно-замѣчательнаго и правильнаго, что въ своемъ зародышѣ не находилось бы у Пушкина.

Такъ весь отрицательный процессъ нашъ, неисключая даже и самого Гоголя, по прямой линіи ведетъ свое начало отъ взгляда, на жизнь Ивана Петровича Бѣлкина.

Многимъ господамъ, преимущественно привыкшимъ благоговѣть передъ именами и авторитетами, мысль эта, высказанная въ первый разъ, и высказанная притомъ ex abrupto, безъ надлежавшей ясности, показалась чудовищно-парадоксальною. Но ко всякому чудовищу можно привыкнуть, тѣмъ болѣе что ни за славу Гоголя, ни за славу даже новыхъ литературныхъ корифеевъ нашихъ бояться нечего.

Типъ Ивана Петровича Бѣлкина былъ почти любимымъ типомъ поэта въ послѣднюю эпоху его дѣятельности. Какое же — спрошу я опять, но послѣ многихъ толковъ моихъ во «Времени» спрошу настоятельнѣе — какое душевное состояніе выразилъ намъ поэтъ въ этомъ типѣ и каково его собственное душевное отношеніе къ

этому типу, влѣзая въ кожу котораго, принимая жизненные воззрѣнія котораго, онъ рассказываетъ намъ множество добродушныхъ исторій, на первый разъ даже ненравящихся своимъ добродушіемъ и простою, но въ сущности таящихъ въ себѣ задачи весьма глубокия?

Пробовали ли читатели въ лѣта своей зрѣлости перечестъ «повѣсти Бѣлкина», эти повѣсти, которыя въ лѣта пылкой молодости привели ихъ въ негодованіе за упадокъ таланта и силъ пѣвца Алёко и Плѣнника, повѣсти, изъ которыхъ нѣкоторыя казались имъ ужасно пустыми, какъ «Мятежь», а нѣкоторыя даже водевильными, какъ «Барышня-крестьянка». Они только въ первой изъ нихъ, въ «Сильвіо», видѣли отраженіе пушкинскаго генія, именно потому, что здѣсь остался слѣдъ борьбы съ мучительнымъ и тревожнымъ идеаломъ. Въ «Сильвіо» дѣйствительно одинъ изъ ключей къ уразумѣнію нравственнаго процесса поэта. Но вѣдь въ другихъ-то простодушныхъ рассказахъ — если вы перечтете ихъ теперь, когда почти тридцать лѣтъ прошло съ перваго появленія ихъ на свѣтъ божій — вы найдете епигаме, въ зернѣ, и простыя изображенія простой дѣйствительности, непонятно свѣжія до сихъ поръ еще, хотя и сдѣланныя очерками (какъ «Гробовщикъ»), и симпатичность отношеній къ загнаннымъ, «униженнымъ и оскорбленнымъ» сантиментальнаго натурализма («Станціонный смотритель»), и... мало ли что вы въ нихъ найдете! Можетъ-быть вы даже съ «Барышней-крестьянкой» и съ «Мятежью» помиритесь?.. Вѣдь читаете же вы наиримѣрь съ удовольствіемъ — хоть въ «Очеркахъ прошлаго» г. А. Чужбинскаго изображеніе монашера Самограева, и признаете законность этого изображенія...

Но вѣдь въ кожѣ Бѣлкина, въ духѣ Бѣлкина, въ тонѣ Бѣлкина рассказаны еще намъ поэтомъ такіе рассказы, какъ «Дубровскийъ», какъ семейная хроника Гриневыхъ, эта нимало не потерявшая своей красоты и свѣжести родоначальница всѣхъ нашихъ «семейныхъ хроникъ».

Въ типѣ Бѣлкина, который такъ полюбился нашему поэту, выразились начала нашего отрицательнаго (въ отношеніи къ нашему напряженному развитію) процесса.

Чтоже такое этотъ пушкинскій Бѣлкинъ, — тотъ самый Бѣлкинъ, который проглядываетъ потомъ подъ другими формами въ повѣстяхъ Тургенева, — которому въ произведеніяхъ Писемскаго страшно хотѣлось взять верхъ надъ фальшиво-блестящимъ и фальшиво-страстнымъ типомъ, — которому съ излишкомъ, черезъ мѣру даетъ права Толстой, — котораго нѣсколько иронически, но съ не-

вольною симпатією позторяетъ даже Лермонтовъ въ Максимѣ Максимычѣ?

Бѣлкинъ пушкинскій есть простой здравый толкъ и простое здоровое чувство, кроткое и смиренное, — толкъ вопіющій противъ всякой блестящей фальши, чувство возстающее законно на злоупотребленія нами нашей широкой способности понимать и чувствовать. Стало-быть въ сущности это начало только отрицательное, и право оно только какъ отрицательное, ибо предоставьте его самому себѣ — оно способно перейти въ застои, мертвящую лѣнь, хамство Фамусова и добродушное взяточничество Юсова.

Посмотрите на этотъ отрицательный типъ у самаго Пушкина вездѣ, гдѣ онъ у него самолично является, или гдѣ поэтъ повѣствуетъ въ его тонѣ, съ его взглядомъ на жизнь. Запугавный страшнымъ призракомъ Сильвіо, его мрачной сосредоточенностью въ одномъ дѣлѣ, въ одной мстительной мысли, онъ еще не сомнѣвается въ томъ, что Сильвіо *можетъ* существовать. Онъ знаетъ только, что онъ самъ вовсе не Сильвіо, и боится этого типа. «Нѣтъ ужъ — говоритъ онъ — лучше пойду я къ людямъ попроче!» и первый опускается въ простые, такъ-называемые низменные слои жизни...

Читатели помнятъ вѣроятно мѣсто въ отрывкахъ главы, невошедшей въ поэму Онѣгина и нѣкогда предназначавшейся поэтомъ на то, чтобы привести существованіе Онѣгина въ многообразныя столкновенія съ русской жизнью и почвою (какъ свидѣлствуютъ уцѣлѣвшія строфы), привести эту праздную, тяготящуюся собою жизнь на разныя очныя ставки съ дѣлательною, сурово-хлопотливою, дѣйствительною жизнью. Эти отрывки, хотя они и отрывки, въ вышней степени знаменательны для уразумѣнія нашего отрицательнаго процесса.

Въ этихъ отрывочныхъ строфахъ Онѣгинъ является для насъ съ совершенно новой стороны, какъ личность, которой, несмотря на всю бурно-прожитую, тревожную жизнь, все-таки некуда дѣвать своихъ силъ, своего здоровья, своей жизненности.

Зачѣмъ, какъ тульскій застѣдатель,
Я не лежу въ параличѣ?
Зачѣмъ не чувствую въ плечѣ
Хоть ревматизма? Ахъ, создатель!
Я молодъ, жизнь во мнѣ крѣпка...
Чего мнѣ ждать? Тоска, тоска!

И разумѣется, тоскою о томъ, что много еще силъ, много еще здоровья и крѣпости жизни долженъ былъ кончить Онѣгинъ,

какъ отраженіе извѣстнаго момента нашего нравственнаго процесса; но не тоскою только, а поворотомъ къ почвѣ кончается живая, многообъемлющая натура самого поэта:

Порой дождливою намени,
Я завернулъ на скотный дворъ...
Тьфу! прозаическія бредни,
Фламандской школы пестрый соръ!
Таковъ ли былъ я расцвѣтаѣ?
Скажи, фонтанъ Бахчисарая,
Такія ль мысли мнѣ на умъ
Вводилъ твой безконечный шумъ?

Эта выходка поэта — не столько негодованіе на прозаизмъ и мелочность окружающей его жизненной обстановки, сколько невольное сознаніе того, что этотъ прозаизмъ имѣетъ неотъемлемыя права надъ душою, что онъ въ душѣ остался какъ отсадокъ послѣ всего кипучаго броженія, послѣ всѣхъ напряженій и тщетныхъ попытокъ окаменѣть въ байроновскихъ формахъ. И тщета этой борьбы съ собственною душою, и негодованіе на то, что послѣ борьбы остался такой отсадокъ, негодованіе, подъ которымъ кроется уже любовь къ почвѣ — одинаково знаменательны:

Какія-бъ чувства ни таились
Тогда во мнѣ, — теперь ихъ нѣтъ:
Они прошли или измѣнились...
Миръ вамъ, тревоги прошлыхъ лѣтъ!
Въ ту пору мнѣ казались нужны
Пустыни, водъ края жемчужны,
И моря шумъ и груды скалъ,
И гордой дѣвы идеалъ,
И безыменныя страданья...
Другіе дни, другіе сны!..
Смирились вы, моей весны
Высокопарныя мечтанья,
И въ поэтическій бокалъ
Воды я много подмѣшала...
Иныя нужны мнѣ картины:
Люблю песчаный косогоръ,
Передъ избушкой дѣвъ рябины,
Калитку, сломанный заборъ,
На небѣ сѣренькія тучи,
Передъ гумномъ соломы кучи,
Да прудъ подъ стѣною изъ густыхъ,
Раздолье утокъ молодыхъ...
Теперь милый мнѣ балабайка,

*Да пьяный топотъ трепака
 Передъ порогомъ кабака;
 Мой идеалъ теперь — хозяйка,
 Мои желанія — покой,
 Да щекъ горшокъ, да самъ большой.*

Поразительна эта простодушнѣйшая смѣсь ощущеній самыхъ разнородныхъ, — негодованія и желанія набросить на картину колоритъ самый сѣрый, съ невольной любовью къ картинѣ, съ чувствомъ ея особенной, самобытной красоты... Это чувство — наше родное, такъ-сказать наше типовое чувство... Оно только-что очнулось отъ тревожно-лихорадочнаго сна, только-что вырвалось изъ кипящаго страшнымъ броженіемъ омута. Оно оглядывается на божій свѣтъ, встряхиваетъ кудрями, чувствуетъ, что все вокругъ его тоже, такое же, какъ было до сна; чувствуетъ выѣсть съ тѣмъ, что и само оно то-же, такое же, какимъ было до борьбы съ призраками и юношески недовольно тѣмъ, что оно свѣжо и молодо послѣ всѣхъ схватокъ съ подводными чудовищами...

Но кружась въ водоворотѣ этого омута, наше сознание видѣло такіе сны, и образы словъ такъ ясно въ немъ отпечатались, что въ призрачной борьбѣ съ нами, мѣрлясь съ ними, оно ощутило въ себѣ силы необъятныя... Какъ же это оно такъ молодо, здорово, испытавши столько, и какъ же испытавши столько, оно опять видѣть передъ собою прежнюю обстановку? Въдѣ въ борьбѣ, хотя и призрачной, оно узнало само себя, узнало, что настолько эту бѣдную и обыденную обстановку можетъ воспринять и усвоить, но и всякую другую, какъ бы эта другая ни была сложна, широка и великолѣйна. Пусть на первый разъ оно разъяснило себя въ чужой обстановкѣ, т. е. пусть на первый разъ мѣра силы познана въ примѣркѣ къ чужому, для нея призрачному — да сила-то ужъ сама себя знаетъ, и знаетъ кромѣ того, что ей мала, бѣдна и узка обыденная обстановка дѣйствительности.

А между тѣмъ и въ самомъ круженіи, въ самой борьбѣ съ призрачнымъ, чуждымъ міромъ, силы чувствовали минутныя припадки непонятнаго влеченія къ этой самой, повидимому столь узкой и скудной обстановкѣ, къ своей собственной почвѣ.

Негодованіе силъ, извѣдавшихъ уже «доброе и злое», выразившись у Пушкина въ вышеприведенныхъ строфахъ, еще сильнѣй сказалось въ стихотвореніи, которое самъ онъ называлъ «Капризомъ»:

Румяный критикъ мой, насмѣшникъ толстопузый и проч,
 но не осталось только негодованіемъ, а перешло въ серьезную

думу мужа о своихъ отношеніяхъ къ міру призрачному и къ міру дѣйствительному...

Въ тѣ дни, когда муза, по словамъ его, усаждала ему

путь нѣмой

Волшебствомъ тайнаго расказа,

когда... Но пусть лучше говоритъ онъ самъ:

Какъ часто по скаламъ Кавказа
Она Ленорой при лунѣ -
Со мной скакала на конѣ...
Какъ часто по брегамъ Тавриды
Она меня во мглѣ ночной
Водила слушать шумъ морской,
Немолчный шопотъ Нереиды,
Глубокій, вѣчный хоръ валовъ,
Хвалебный гимнъ отцу міровъ, —

въ эти дни молодого и кипучаго вдохновенія великая натура мѣняла свои силы со всѣмъ великимъ, что уже она встрѣчала данымъ и готовымъ, подвергаясь равномѣрно вліянію и свѣтлыхъ и темныхъ его сторонъ...

Оказалось, что на «вся добрая и злая» у нея есть удивительная воспріимчивость и отзывчивость; что притомъ эта воспріимчивость и эта отзывчивость не могутъ остановиться на среднемъ пути, а ведутъ всякое сочувствіе до крайнихъ его предѣловъ, и что наконецъ натура все-таки не можетъ перестать любить своего типоваго, не можетъ не стремиться къ всему, не можетъ забыть своей почвы. Это стремленіе скажется то радостью «замѣтить разность» между Онѣгинымъ и собою, то мечтою о поэмѣ «пѣсенъ въ двадцать пять», въ которой, какъ говоритъ поэтъ:

Не муки тайныя злодѣйства
Тогда я въ ней изображу,
А просто вамъ перескажу
Преданье русскаго семейства;

въ которой мечтаетъ онъ пересказать

простыя рѣчи
Отца или дяди старика,
Дѣтей условленные встрѣчи
У старыхъ лишь, у ручейка...

Мало ли чѣмъ наконецъ скажется это стремленіе къ почвѣ!..

Записываніемъ сказокъ старой пѣни или анекдотовъ о старинѣ, горлостью родовыхъ преданій — въ противоположность бюрократическому чванству, совѣтомъ учиться русскому языку у московскихъ просвиренъ...

И вотъ, когда поэтъ въ эпоху зрѣлости самосознанія привелъ для самого себя въ очевидность всѣ эти повидимому совершенно противоположныя стремленія собственной своей натуры, то прежде всего и паче всего правдивый и искренній, онъ умалилъ, принизилъ самого себя, когда-то «Плѣнника», у котораго

на челѣ его высокою
Не измѣнилось ничего,

когда-то «Алеко», который говоритъ про себя:

Я не таковъ... нѣтъ! я неспоря
Отъ правъ своихъ не откажусь и проч.

до смиреннаго образа Ивана Петровича Бѣлкина...

Въ этомъ типѣ узаконилось — но только на время, только отрицательно, какъ критическій отсадокъ — стремленіе къ почвѣ, поворотъ къ ея требованіямъ. Въ этотъ образъ пошла далеко не вся великая личность поэта, ибо Пушкинъ вовсе не думалъ отречься отъ прежнихъ своихъ сочувствій или считать ихъ противозаконными, какъ это иногда готовы дѣлать мы въ порывахъ усердія къ почвѣ. Да и трудно конечно представить себѣ дѣйствительно Иваномъ Петровичемъ Бѣлкинымъ натуру, которая и прежде мѣрлась, да и потомъ не переставала мѣряться своими силами съ самыми могучими типами, ибо въ тоже самое время геній поэта проникалъ въ мрачно-сосредоточенную душу Сальери и въ вѣчно-жаждущую жизни натуру Донъ-Жуана, стало-быть вовсе не замыкался исключительно въ существованіе Бѣлкина.

Бѣлкинъ для Пушкина вовсе не герой его, а больше ничего какъ критическая сторона души. Мы были бы народъ весьма нещедро надѣленный природою, еслибы героями нашими были пушкинскій Бѣлкинъ, лермонтовскій Максимъ Максимычъ и даже честный кавказскій капитанъ въ «Рубкѣ лѣса» Толстого. Значеніе всѣхъ этихъ лицъ въ томъ, что они — критическіе контрасты блестящаго и такъ-сказать хищнаго типа, котораго величіе оказалось на нашу душевную мѣрку несостоятельнымъ, а блескъ фальшивымъ. Значеніе ихъ кромѣ того въ протестъ, — протестъ всего смиреннаго, загнаннаго, но между тѣмъ основаннаго на почвѣ въ нашей природѣ — противъ гордыхъ и страстныхъ до необузданности началъ, противъ широкаго размаха силъ, оторвавшихся отъ связи съ почвою.

Придать этой сторонѣ души нашей значеніе исключительное, героическое, значить впасть въ другую крайность, ведущую къ застою и закиси. Максимъ Максимычъ и капитанъ Толстого конечно люди очень честные и безъ всякой похвальбы храбрые; они нисколько не рисуются, нисколько не натягиваютъ своей простой природы на сильныя страсти и глубокія страданія, — но вѣдь согласитесь, что съ ними немислима никакая исторія. Изъ нихъ не выйдутъ конечно Стеньки Разины, да зато не выйдутъ и Минины. Увы! на однихъ добрыхъ и смиренныхъ людяхъ, умѣй они даже и умирать такъ, какъ умираетъ солдатъ Веленчукъ у Толстого, будь они благодушны до пантеистической любви ко всей твари, какъ старикъ Агафонъ у Островскаго, — далеко не уѣдешь. Для жизни страстное начало нужно, заправка нужна.

Глубоко понималъ это гениальнымъ чутьемъ своимъ Пушкинъ, и потому до сихъ поръ даже, послѣ Максима Максимыча, къ которому самъ Лермонтовъ относится впрочемъ съ проніемъ, послѣ однодворца Савелья Писемскаго, послѣ капитана Храброва Толстого — его Бѣлкинъ все-таки единственно правильное узаконеніе критической стороны нашей души...

Съ тою жизнью попроще, въ которую спускается онъ, ошеломленный страшнымъ призракомъ Сильвіо, онъ вѣдь тоже разобщенъ кой-какимъ образованіемъ — ну хоть писмовникомъ Курганова, а главное, онъ уже смотритъ на нее съ высоты кой-какого образованія.

Комизмъ положенія челоѣка, который считаетъ себя *обязаннымъ* по своему кой-какому образованію смотрѣть какъ на что-то ему чужое — на то, съ чѣмъ у него несравненно болѣе общаго, чѣмъ съ приобретенными кой-какъ верхушками образованности — является необыкновенно ярко въ Бѣлкинѣ, какъ авторѣ «Лѣтописи села Горюхина». Эта лѣтопись — тончайшая и вмѣстѣ добродушнѣйше-поэтическая насмѣшка надъ цѣлою, вѣковой полосой нашего развитія, надъ всею нашею поверхностною образованностью бывалыхъ временъ, сообщавшей намъ взглядъ совершенно неприложимый къ явленіямъ окружавшей и доселѣ насъ окружающей дѣйствительности... Въ этомъ наивномъ лѣтописцѣ села Горюхина лукаво притаились всѣ наши бывалые взгляды на нашъ бытъ и нашу старину, выразавшіеся то стихами вроде:

Россійскіе князья, бояре, воеводы,
Пришедшіе чрезъ Донъ отыскивать свободы...

то карамзинскими фразами, какъ напримѣръ: «Ярославъ пріѣхалъ

господствовать надъ трупами» или: «отселѣ исторія наша пріемлетъ достоинство истинно государственной» и проч. и проч.

Но вѣдь мало того, что въ этомъ легкомъ очеркѣ, въ этихъ немногихъ гениальныхъ страницахъ бездна лукавой и безпощадной ироніи: въ нихъ есть нѣчто высшее ироніи. Откуда въ немъ, въ этомъ Бѣлкинѣ, который считаетъ свою *обязанностью* писать съ важностью классическихъ историковъ о странѣ, именуемой Горохинымъ, и *живописуетъ* вычурнымъ слогомъ нравы ея обитателей, — откуда въ немъ такое удивительное знаніе этихъ нравовъ и такое любовное и вмѣстѣ совершенно-правильное къ нимъ отношеніе?

Типъ простого и смирнаго человѣка, впервые художественно выдвинутый на сцену Пушкинымъ въ лицѣ его Бѣлкина, съ тѣхъ поръ подъ различными формами является въ нашей литературѣ: то въ лицѣ простого, тоже смирнаго, но храбраго и честнаго, хотя нѣсколько ограниченаго по натурѣ человѣка, каковъ Максимъ Максимычъ Лермонтова; то въ лицѣ загнаннаго судьбою человѣка, который постоянно пасуетъ передъ хищнымъ и блестящимъ типомъ — у Тургенева; то въ лицѣ простого же, но страстнаго человѣка, надѣяннаго сильной, но неразвитой природою, который тоже пасуетъ въ жизни передъ виѣшне-блестящимъ, но внутренне-пустымъ типомъ — у Писемскаго; то въ лицѣ человѣка наконецъ, котораго глубокій анализъ довелъ до сознанія исключительной законности типа простого человѣка предъ блестящимъ, но постоянно подавляющимся на моральныя ходули типомъ, до невѣрія даже въ возможность реальнаго бытія такого ходульнаго типа — какъ у Толстого. Пушкина Бѣлкинъ еще вѣритъ въ существованіе мрачнаго, сосредоточеннаго Сильвіо; Лермонтовъ еще только иронически сочувствуетъ своему Максиму Максимычу и къ сожалѣнію *еще* вѣритъ въ своего Печорина; Тургеневъ, сочувствуя глубоко и болѣзненно своему загнанному человѣку, не только вѣритъ въ блестящіе и страстные типы, но и самъ ими увлекается; Писемскій явно негодуетъ на торжество фальшиво-блестящаго надъ простымъ и безыскусственнымъ. Толстой анализируетъ, и анализомъ доходитъ до положительнаго невѣрія во всякое сколько-нибудь *приподнятое* чувство. Между тѣмъ его невѣріе — не прозаизмъ, нѣсколько грубоватый, Писемскаго, и съ другой стороны не та искусственная практичность, которая заставляетъ Гончарова предпочесть Штольца романтику Обломову. Невѣріе Толстого — результатъ глубокаго анализа, часто доходящаго до крайностей,

часто разбивающаго свои собственные основы, но никогда почти неувлекающагося извѣстными сочувствіями и антипатіями.

Прежде чѣмъ разъяснить значеніе анализа Толстого, я долженъ предупредить вопросъ о томъ, почему, исчисляя различныя отношенія нашихъ писателей къ двумъ типамъ, я не сказалъ ни слова о ярко-замѣчательномъ отношеніи къ нимъ Островскаго и О. Достоевскаго? То и другое отношеніе, какъ это будетъ объяснено въ свое время и въ своемъ мѣстѣ, совершенно оригинально. Въ идеалахъ чуждой намъ жизни искали Пушкинъ и Тургеневъ блестящихъ типовъ; въ глубинѣ народной жизни ищутъ какъ Островскій, такъ и Достоевскій, — и широкихъ типовъ, какъ напримѣръ типъ Петра Ильича и многія изъ лицъ «Мертваго дома», такъ равно и смиренныхъ. Смирные ихъ типы нельзя назвать въ противоположность типамъ широкимъ простыми, потому что и широкіе ихъ типы взяты изъ народной жизни.

Сдѣлавши эту необходимую оговорку, возвращаюсь къ Толстому и значенію его анализа.

Анализъ Толстого дополъ до глубочайшаго невѣрія во все «приподнятыя», «необыденныя» чувства души человѣческой. Въ этомъ его высокое значеніе, въ этомъ же и его односторонность. Анализъ разбилъ готовые, сложившіеся, *отчасти* чужіе намъ идеалы, силы, страсти, энергіи. Въ русской жизни онъ, какъ и все видятъ — только отрицательный типъ простого и смирнаго человѣка — и привязался къ нему всей душою. Вездѣ слѣдитъ онъ идеалъ простоты душевныхъ движеній: въ горестіи няни (въ «Дѣтствѣ и отрочествѣ») о смерти матери героя, — горести, противопоставляемой имъ нѣсколько эффектной, хотя и глубокой скорби старой графини; въ смерти солдата Веленчука, въ честной и простой храбрости капитана Храброва, явно превосходящей въ его глазахъ несомнѣнную же, но крайне эффектную храбрость одного изъ кавказскихъ героев à la Марлинскій; въ покорной смерти простого человѣка, противопоставленной смерти страдающей, но капризно страдающей барыни... Но въ первыхъ, несмотря на всю свою глубокую искренность, можетъ-быть именно влѣдствіе задачи, поставленной въ искренности анализа, Толстой иногда и пересаливаетъ въ своей строгости къ «приподнятымъ» чувствамъ. Не многіе напримѣръ будутъ съ нимъ согласны насчетъ большей глубины горя няни передъ горемъ старухи-графини. Вовторыхъ, этотъ анализъ, дошедшій до любви къ смирному типу преимущественно по невѣрію въ блестящій и хищный типъ, въ концѣ концовъ, неопираясь на почву, дающую оба типа, ведетъ къ какому-то пантеистическому отчаянію, очевидному въ «Люцернѣ», «Альбертѣ» и выразившемуся еще прежде въ

«Запискахъ маркера». Встрѣтыхъ наконецъ этотъ анализъ обращается въ какой-то безсодержательный, въ анализъ анализа, своею безсодержательностью приводящій къ скептицизму и къ подрыву всякихъ душевныхъ чувствъ. Ключъ къ концамъ этого анализа — это смерть дуба въ «Трехъ смертяхъ», смерть, поставленная сознаниемъ выше смерти не только развитой барыни, но и выше смерти простого человѣка. Въдѣ отсюда одинъ шагъ къ нигилизму.

Правъ этотъ анализъ собственно только въ казни, безпощадно совершаемой имъ надъ всѣмъ фальшивымъ, чисто слѣпаннымъ въ ощущеніяхъ современнаго человѣка, который Лермонтовъ суетверно обоготовилъ въ своемъ Печоринѣ. А правъ онъ вотъ почему.

Въ стремленіи къ идеалу или на пути духовнаго совершенствованія, всякаго стремящагося ожидаютъ два подводныхъ камня: отчаяніе отъ сознанія своего собственнаго несовершенства, изъ котораго есть еще выходъ, и неправильное, непрямое отношеніе къ своему несовершенству, которое почти совершенно безвыходно. Что человѣку непріятно и тяжело сознавать свои слабыя стороны, это конечно не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію; задача здѣсь заключается преимущественно въ томъ, чтобы къ этимъ слабымъ сторонамъ своимъ отнестись съ полною, безпощадною справедливостью. Самое обыкновенное искушеніе въ этомъ случаѣ — уменьшить въ собственныхъ глазахъ свои недостатки. Но есть искушеніе несравненно болѣе тонкое и опасное, именно — преувеличить свои слабости до той степени, на которой онѣ получаютъ извѣстную значимость и пожалуй даже, по извращеннымъ понятіямъ современнаго человѣка, величавость и обаятельность зла. Мысль эта станетъ совершенно понятна, если я напому обаятельную атмосферу, которая разлита вокругъ образовъ — не говорю уже Манфреда, Лары, Глуга, — но Печорина и Ловласа: психологическій фактъ, весьма перфдкій съ тѣхъ поръ какъ

Британской музы небылицы
Тревожатъ сонъ отроковицы...

Возьмите какую угодно страсть и доведите ее въ вашемъ представленіи до извѣстной степени энергіи, поставьте ее въ борьбу съ окружающею ее обстановкою — ваше трагическое воззрѣніе закроетъ отъ васъ всѣ мелкія пружины ея дѣятельности. Эгоизму современнаго человѣка несравненно легче помириться въ себѣ съ крупнымъ преступленіемъ, чѣмъ съ мелкой и пошлой подлостью; гораздо пріятнѣе вообразить себя Ловласомъ, чѣмъ гоголевскимъ Собакинскимъ, скупымъ рыцаремъ, чѣмъ Плюшкинымъ, Печоринымъ, чѣмъ Меричемъ; даже, ужъ если на то пошло, Грушниц-

кимъ, чѣмъ Милашинымъ Островскаго, потому что Грушницкій хоть умираетъ эффектно! Сколько лягушекъ надуваются по этому случаю въ волонъ въ насъ самихъ и вокругъ насъ! сколько людей *оселяютъ* показаться себѣ и другимъ *преступными*, когда они сдѣлали только *пошлость*! сколько гаденькихъ чувственныхъ попользовеній стремятся принять въ насъ размѣры колоссальныхъ страстей! Хлестаковъ, даже Хлестаковъ, и тотъ зоветъ городничиху «удалиться подъ сѣнь струй»! Меричъ, въ «Бѣдной невѣстѣ» самодовольно проситъ Марью Андреевну простить его, что онъ «возмутитъ міръ ея невинной души»! Тамаринъ радъ радехонекъ, что его зовутъ демономъ!

Такимъ образомъ, даже и по наступленіи той минуты, съ которой въ натурѣ нравственной должно начаться правильное, т. е. комическое отношеніе къ собственной мелочности и слабости, гордость вмѣсто прямого поворота предлагаетъ намъ изворотъ. Изворотъ же заключается въ томъ, чтобы поставить на ходули безсилную страстность души, признать ея требованія все-таки правыми; переживши минуты презрѣнія къ самому себѣ и къ своей личности, сохранить однако вражду и презрѣніе къ дѣйствительности.

Вотъ въ казни этого—то психическаго изворота и правъ вполнѣ анализъ Толстого, правѣ чѣмъ анализъ Тургенева, иногда и даже верѣяко калящій нашимъ фальшивымъ сторонамъ, и съ другой стороны — правѣ чѣмъ анализъ Гончарова, ибо казнить во имя глубокой любви къ правдѣ и искренности ощущеній, а не во имя узкой, бюрократической практичности; правѣ и анализа Писемскаго, ибо онъ знаетъ глубоко, знаетъ какъ Лермонтовъ современнаго чловѣка, Писемскій же рисуетъ его болѣе по наслышкѣ и по наглядкѣ и потому часто не достигаетъ своей цѣли, утрируя его иногда до карикатурности.

Неправъ же анализъ Толстого не только по вышеизложеннымъ причинамъ и не только потому, что не опирается на народную почву, но еще и потому, что не придаетъ значенія блестящему *дѣйствительно* и страстному *дѣйствительно* и хищному *дѣйствительно* типу, который и въ природѣ и въ исторіи имѣетъ свое оправданіе, т. е. оправданіе своей возможности и реальности.

Не только мы были бы народъ весьма щедро одаренный природою, еслибы мы видѣли свои идеалы въ однихъ смиренныхъ типахъ — будь это Максимъ Максимычъ или капитанъ Храбровъ, даже и смиренные типы Островскаго, — по пережитые нами съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ типы — чужіе намъ только отчасти, только можетъ-быть по своимъ формамъ и по своему такъ-сказать лоску. Пережиты они нами потому собственно, что къ восприимчивости

ихъ наша природа столь же способна, какъ и всякая европейская. Неговоря уже о томъ, что у насъ въ исторіи были хищные типы и неговоря о томъ, что Стеньку Разина изъ міра эпическихъ сказаній народа не выживешь, — нѣтъ, самые въ чуждой намъ жизни сложившіеся типы не чужды намъ и у нашихъ поэтовъ облекались въ своеобразныя формы. Въѣтъ тургеневскій Василій Лачиновъ — XVIII вѣкъ, но русскій XVIII вѣкъ, а ужъ его напимѣръ страстный и беззаботно-прожигающій жизнь Веретевъ — и подавно.

Стремленіе Пушкина къ блестящимъ, хотя повидимому чуждымъ намъ идеаламъ имѣетъ глубокія причины въ свойствахъ самой русской натуры. Потому-то, влѣзая въ кожу Бѣлкина, онъ все-таки не переставалъ быть ни Алеко, ни Довъ-Жуаномъ, хотя Толстой едвали повѣритъ напимѣръ жаждѣ мщенія, выражающейся въ извѣстной тиралѣ Алеко:

Я не таковъ... нѣтъ! я неспоря
Отъ правъ моихъ не откажусь и проч.

И Толстой будетъ правъ, какъ правъ и Писемскій, карикатурно-зло, но вѣрно изображая Батманова и Хазарова, «драпирующагося плащемъ Ромео», но правъ только по отношенію къ народѣи на типъ страстнаго и сильнаго духомъ челоѣка, а не по отношенію къ самому типу. Тѣмъ менѣе правы они будутъ, если русской натурѣ припишутъ только одинъ идеалъ «смирнаго» челоѣка.

Въ русской натурѣ вообще заключается едвали не одинаковое, едвали не равномѣрное богатство силъ, какъ положительныхъ, такъ и отрицательныхъ.

Нешадно смѣясь надъ всѣмъ, что несообразно съ нашей душевной мѣрой, хотя бы безобразіе несообразности, чудовищное или комическое, явилось даже въ томъ, что мы любимъ и уважаемъ — мы ведемъ всякое отрицаніе жи до его крайнихъ предѣловъ, ни передъ чѣмъ неостанавливаясь и ничѣмъ несмущаясь. Этимъ мы отличаемся отъ другихъ народовъ, въ особенности отъ нѣмцевъ, совершенно неспособныхъ къ комизму и весьма непослѣдовательныхъ въ своемъ хотя и смѣломъ отрицаніи, въ принципахъ. Сомнѣнія нѣтъ, что посмѣявшись надъ филистерствомъ какого-либо знаменитаго ученаго, вы впалаете въ глазахъ нѣмца въ *crimen laesae majestatis*; и извѣстно вамъ также, что великій учитель, подорвавшій своимъ змѣеобразнымъ положеніемъ всякія формы, остановился въ умиленіи передъ формами прусскаго государства — и это во-все не изъ политическаго благоразумія, а просто потому, что былъ нѣмецъ.

Съ другой стороны мы столь же мало способны къ строгой, од-

нообразной чинности, кладущей на все уровень вѣшняго порядка и составной цѣльности; съ утопіями формализма, каковы бы онѣ ни были — утопія ли бюрократовъ, или утопія фурьеристовъ, казарма или фаланстера — мы не миримся.

Любя *праздники* и нерѣдко цѣлую жизнь прожигая въ празднопотателствѣ и круженіи, мы не можемъ мѣшать дѣлу съ бездѣльемъ и дѣлая дѣло, сладострастно наслаждаться мыслью о приготовленіи себѣ посредствомъ его извѣстной *порціи* законнаго бездѣлья. Этимъ мы опять-таки въ значительной степени разнимся отъ нѣмцевъ. Мы можемъ ничего не дѣлать, но не можемъ на дѣло смотрѣть какъ на *prolegomena* къ вздору. Одинъ изъ типическихъ героевъ нашихъ, Чацкій говорить правду:

Когда дѣла — я отъ веселій прячусь,

Когда дурачиться — дурачусь...

А смѣшивать два эти ремесла

Есть тѣмъ охотниковъ, — я не изъ ихъ числа.

Съ другой стороны мы не можемъ помириться съ вѣчной суетней и толкотней общественно-будничной жизни, не можемъ посреди ея заглушить въ себѣ тревожнаго голоса своихъ высшихъ духовныхъ интересовъ, но зато, скоро уставая бороться во имя ихъ съ будничною дѣйствительностью, впадаемъ нерѣдко въ хандру.

Таковы нѣкоторыя, довольно неоспоримыя кажется черты нашей — скажемъ безъ ложнаго смиренія — богатой стихійной природы, черты свидѣтельствующія о ея тревожныхъ, порывающихъ въ широкую даль началахъ. О нашихъ качествахъ смиренія, непамятозлобія и проч. я не говорю. Они давно признаны всѣми, хотя безъ всякой мѣры, до пересолу славянофилами, невидящими комической стороны нашего смиренія въ смиреніи Фамусова и таковой же стороны нашего непамятозлобія въ дешовыхъ примиреніяхъ «передъ порогомъ кабака». На этихъ однихъ, хотя и дѣйствительно прекрасныхъ качествахъ мы бы далеко не уѣхали. И такъ они немало намъ повредили своимъ одностороннимъ преобладаніемъ. Доселѣ еще мы можемъ любоваться ихъ одностороннимъ преобладаніемъ въ мірѣ драмъ Островскаго — въ покорности домочадцевъ передъ Китомъ Китьичемъ, въ ѣрническомъ раболѣпнѣи передъ Самсономъ Силыичемъ Лазаря Подхалюзина, въ дешовомъ непамятозлобіи, основанномъ на сознаніи общественной безнравственности, Антипа Антипыча и того, кого онъ «помазалъ» насчетъ товара.

Да будетъ далека отъ читателя мысль, чтобы я смѣлся надъ этими сами по себѣ святыми началами, чтобы напримѣръ весь міръ, изображаемый Островскимъ, этотъ міръ коренной и отчасти

застывшій безъ развитія въ своихъ коренныхъ началахъ, но зато сохранившій упорно свои самостоятельныя начала, — чтобы этотъ міръ, за поклоненіе которому я подвергаюсь постояннымъ укорамъ достопочтенныхъ «Отечественныхъ Записокъ», я считалъ «темнымъ царствомъ» весь, всецѣло — съ его величавыми патріархами, каковы Русаковъ, несмотря на его нѣкоторое резонерство, и отецъ Петра Ильича, несмотря на его раскольниковскую жестокость; съ его широкими и вмѣстѣ благодушными личностями вродѣ Бородинъ и Кабанова, который душою выше своего положенія; съ его женщинами — отъ Любови Гордѣевны до страстнаго типа Катерины и идеально-религіознаго типа Марфы Борисовны, благодушной и свѣтлой до того, что она готова лгать при всей чистотѣ своей, чтобы только не обидѣть «хорошаго человѣка»; съ его наконецъ мужами энергіи и борьбы — отъ падшей, но великой натуры Любима Торцова, незнающей куда дѣвать свою силу, натуры Петра Ильича до мужа-борца, доходящаго до религіозныхъ экстазовъ, но практически и вмѣстѣ героически кабалащаго народъ ради земскаго дѣла. Нѣтъ, это слишкомъ многообразный, какъ жизнь вообще, и свѣтлый и темный вмѣстѣ міръ. Но вѣдь въ немъ не одни же наши смиренныя свойства развиваются, и въ немъ же очевидны печальныя послѣдствія односторонняго развитія этихъ свойствъ.

Въ немъ есть и другія порывающія, тревожныя свойства, — что, какъ уже замѣчено, составляетъ богатство нашей природы.

Пока эта природа съ ея богатыми стихійными началами и съ безпощаднымъ здравымъ смысломъ живетъ еще сама въ себѣ, т. е. живетъ безсознательно, безъ столкновенія съ другими живыми организмами, какъ-то было до петровской реформы, — она еще спокойно вѣрится въ свою стихійную жизнь, еще не разлагаетъ своихъ стихійныхъ началъ. Сложившійся типъ еще крѣпокъ. Еще онъ всецѣло поддерживается «Домостроемъ попа Сильвестра». Вы нисколько не возмутитесь тѣмъ, что напримѣръ посланникъ Алексѣй Михайловича во Франціи, Потемкинъ, оскорбленный откупщикомъ «маршалка де-Граммона», хотѣвшаго взять пошлину съ окладовъ св. иконъ, ругаетъ его: «врагомъ креста Христова и псомъ несатымъ» и знать не хочетъ, что откупщикъ просто-напросто дѣйствуетъ на основаніи *своихъ* правъ. Вы не возмущаетесь и тѣмъ, что въ другую, еще только внѣшне-породнившуюся съ развитіемъ эпоху, Денису Фонвизину въ варшавскомъ театрѣ звуки польскаго языка кажутся *подлыми*, и скорѣе восхищаетесь злой оригинальностью его замѣчанія вродѣ того, что «разсудка Французъ не имѣетъ, да и имѣть его почелъ бы за величайшее несчастіе». Все эти черты старая,

крѣпкаго, еще мало возмущеннаго въ коренныхъ своихъ основахъ типа вамъ не только понятны, но даже и любезны...

И вдругъ этотъ вѣками сложенный типъ, эта богатая, но еще нетронутая стихійная природа поставлена — и поставлена уже не случайно, не на время, а навсегда — въ столкновеніе съ иною, дотошъ чуждою ей жизнью, съ иными, столь же крѣпко, но роскошно и полно сложившимися идеалами. Пусть на первый разъ она какъ Фонвизинъ отнеслась къ этимъ чуждымъ ей типамъ, только критически... Неминуемо долженъ совершиться другой процессъ.

Тронутия съ мѣста стихійныя начала встаютъ какъ морскія волны, поднятыя бурей; начинается страшная ломка, выворачивается вся внутренняя, бездонная пропасть.

Оказывается — какъ только разложился старый, исключительный типъ, — что у насъ есть сочувствіе ко всѣмъ идеаламъ, т. е. существуютъ стихіи для созданія многообразныхъ идеаловъ. Сущность наша — типовая мѣра, душевная единица разложилась, и на первый разъ дѣйствуютъ только многообразныя силы страшныя, дикія, необузданныя. Каждая изъ этихъ силъ хочетъ сѣлаться центромъ души, и пожалуй могла бы, еслибы не было другой, третьей, многихъ, равно просящихъ работы, равно зиждательныхъ и пожалуй равно разрушительныхъ, и еслибы кромѣ того въ ней самой, въ этой силѣ, какъ и во всѣхъ другихъ, не заключалась равномѣрная отрицательная сторона, неумолимо указывающая на всѣ неправильныя, чудовищныя или смѣшныя уклоненія, противныя типовой душевной мѣрѣ, — мѣрѣ, которая все-таки лежитъ на днѣ бурнаго процесса.

Способность силъ доходить до крайнихъ предѣловъ, соединенная съ типовой, болѣзненно-критическою отрывкою, порождаетъ состояніе страшной борьбы. Въ этой борьбѣ неминуемо закружибается натуры могущественныя, но не гармоническія. Такая борьба — періодъ нашего русскаго романтизма...

Наши великіе умы, бывшіе доселѣ рѣшительно представляются съ этой точки могучими заклинателями страшныхъ силъ, пробующими во всѣхъ направленіяхъ служебную дѣятельность стихій, но забывающими порою, что нельзя совершенно выпустить на свободу эти грозныя порожденія бездны. Стоитъ только стихіи вырваться изъ центра на периферію, чтобы по общему закону организмовъ она стала обособляться, сосредоточиваться около собственнаго центра и наконецъ получила цѣльное, реальное бытіе.

И тогда горе заклинателю, который выпустилъ ее изъ центра, и это горе неминуемо ждетъ всякаго заклинателя, поскольку онъ человекъ... Пушкина скосила отдѣлившаяся отъ него стихія Алеко;

Лермонтова — тотъ страшный образъ, который сіялъ предъ нимъ «какъ царь пѣмой и горлый» и отъ мрачной красоты котораго самому ему «было страшно и душа тоскою сжималась»; Кольцова — та раздражительная и начинавшая во всемъ сомнѣваться стихія, которую тщетно заклиналъ онъ своими «думами». А сколько могучихъ, но не гармоническихъ личностей закруживали стихійныя начала: Милонова, Кострова — въ прошломъ вѣкѣ, Полежаева, Мочалова — на нашей памяти.

Да не скажутъ, чтобы я здѣсь игралъ словами. Стихійное вовсе не то, что *личность*. Личность пушкинская не Алеко и вмѣстѣ съ тѣмъ не Иванъ Петровичъ Бѣлкинъ, отъ лица котораго онъ любилъ рассказывать свои повѣсти: личность пушкинская — самъ Пушкинъ, заклинитель и властелинъ многообразныхъ стихій, какъ личность лермонтовская не Арбенинъ и Печоринъ, а самъ онъ,

Еще невѣдомый избранникъ

и можетъ-быть, по словамъ Гоголя, «будущій великій живописецъ русскаго быта». Прасоль Кольцовъ, умѣвшій ловко вести свои торговля дѣла, спасъ бы намъ надолго жизнь великаго лирика Кольцова, еслибъ не пожрала его, вырвавшись за предѣлы, та раздражающаяся дѣйствительностью, недовольная, слишкомъ впечатлительная сила, которую не всегда заклиналъ онъ своею возвышенной и трогательной молитвою.

О, гори лампада
Ярче предъ распятемъ!
Тяжелы мнѣ думы,
Сладостна молитва!..

Въ Пушкинѣ попреимуществу, какъ въ первомъ цѣльномъ очеркѣ русской натуры, — очеркѣ, въ которомъ обозначились и объемъ и границы ея сочувствій, — отразилась эта борьба, высказался этотъ моментъ нашей духовной жизни, хотя великій мужъ былъ и не рабомъ, а властелиномъ и заклинятелемъ этого страшнаго момента.

Поучительна въ высокой степени исторія душевной борьбы Пушкина съ различными идеалами, — борьбы, изъ которой онъ выходитъ всегда самимъ собою, особеннымъ типомъ, совершенно новымъ. Ибо что наиримѣрь общаго между Онѣгинымъ и Чайльдъ-Гарольдомъ Байрона? что общаго между пушкинскимъ и байроновскимъ или мольтеровскимъ французскимъ или наконецъ испанскимъ Довъ-Жуаномъ?.. Это типы совершенно различныя, ибо Пушкинъ, по словамъ Бѣлинскаго, былъ *представителемъ міра русскаго, чело-вѣчества русскаго*. Мрачный сплинъ и язвительный скептицизмъ

Чайльд-Гарольда замѣнился въ лицѣ Онѣгина хандрою отъ праздности, тоскою человѣка, который внутри себя гораздо проще, лучше и добрѣе своихъ идеаловъ, который надѣленъ критическою способностью здороваго русскаго смысла, т. е. прирожденною, а не приобрѣтенною критическою способностью, который — критикъ, потому что даровитъ, а не потому что озлобленъ, хотя самъ и хочетъ искать причинъ своего критическаго настроенія въ озлобленіи, и которому таже критическая способность можетъ, того и гляди, указать средство выйти изъ ложнаго и напряженнаго положенія на ровную дорогу.

Съ другой стороны Донъ-Жуанъ южныхъ легендъ — это сладострастное кипѣніе крови, соединенное съ демонски-скептическимъ началомъ, на которое намекаетъ великое созданіе Мольера и которымъ до опьяненія восторгается нѣмецъ Гюфманъ. Эти свойства обращаются въ созданіи Пушкина въ какую-то безпечную, юную, безграничную жажду наслажденія, въ сознательное даровитое чувство красоты, въ способность «по узенькой пяткѣ» дорисовать весь образъ женщины, способность находить «странную пріятность» въ потухшемъ взорѣ и помертвѣлыхъ глазкахъ черноокой Инесы: типъ создается однимъ словомъ изъ южной, даже африканской страстности, но смягченной русскимъ тонко-критическимъ чувствомъ, — изъ чисто русской удачи, безпечности, какой-то дерзкой шутки прожигаемою жизнью, какой-то безусталой гоньбы за впечатлѣніями, такъ что чуть впечатлѣніе принято душою — душа уже далеко, и только «на свѣговой порошокъ» остался слѣдъ «не зайки, не горностайки», а Чурилы Плешковича, этого Донъ-Жуана мифическихъ временъ, порожденія нашей народной фантазіи.

Эта поучительная для насъ борьба — и въ геніально-юношескомъ лепетѣ Кавказскаго плѣнника, и въ Алеко, и Гирей (недаромъ же печальной памяти «Маякъ» объявлялъ героевъ Пушкина уголовными преступниками!), и въ Онѣгинѣ, и въ провиантскомъ, лихорадочномъ и вмѣстѣ сухомъ тонѣ «Пиковой дамы», и въ отношеніяхъ Ивана Петровича Бѣлкина къ мрачному Сильвіо въ повѣсти «Выстрѣлъ». На каждой изъ этихъ ступеней борьба стоитъ подробнѣйшаго изученія... Но что вездѣ особенно поразительно, такъ это постоянная неослѣдовательность живой и самобытной души, ея упрямая непокорность усвоемому ей типу, при постоянной послѣдовательности умственной, послѣдовательности пониманія и усвоенія типа. Ясно видно, что въ типѣ есть для этой души что-то неотразимо-влекущее и есть вмѣстѣ съ тѣмъ что-то такое, чему она постоянно измѣняетъ, что стало-быть рѣшительно не по ней.

Кружась въ водоворотѣ этого омута, наше сознаніе видѣло та-

кіе сны, и образы этихъ снова такъ ясно въ немъ отпечатались, что въ призрачной борьбѣ съ ними, или лучше-сказать мѣряясь съ ними, оно ощутило въ себѣ силы необъятныя, силы на созданіе самобытныхъ идеаловъ. Какимъ же образомъ, извѣдавша «добрая и злая», можетъ оно остаться при однихъ чисто-отрицательныхъ типахъ?

Вопросъ объ отношеніи нашихъ писателей къ двумъ типамъ — вопросъ очень важный. Толстой представляетъ крайнюю грань односторонняго отношенія, грань замѣчательную не только по своей односторонности, но и потому еще, что любовь къ отрицательному смарному типу родилась у нашего автора не непосредственно, какъ у писателей народной эпохи литература, а вслѣдствіе глубокаго анализа.

Душевный процессъ, который раскрывается намъ въ «Дѣтствѣ и Отрочествѣ» и первой половинѣ «Юности» — процессъ необыкновенно оригинальный. Герой этихъ замѣчательныхъ психологическихъ этюдовъ родился и воспитался въ средѣ общества, столь искусственно сложившейся, столь исключительной, что она въ сущности не имѣетъ реальнаго бытія, въ сферѣ такъ-называемой аристократической, въ сферѣ высшаго свѣта. Неудивительно, что эта сфера образовала Печорина — самый крупный свой фактъ — и нѣсколько болѣе мелкихъ явленій, каковы героя разныхъ великосвѣтскихъ повѣстей. Удивительно, а вмѣстѣ съ тѣмъ и знаменательно то, что изъ нея, этой узкой сферы, выходитъ, т. е. отрѣшается отъ нея посредствомъ анализа герой рассказовъ Толстого. Въдъ не вышелъ же изъ нея, несмотря на весь свой умъ, Печоринъ; не вышли же изъ нея герои графа Соллогуба и г-жи Евгеніи Туръ!.. А съ другой стороны становится понятнымъ, когда читаешь этюды Толстого, какимъ образомъ, несмотря на ту же исключительную сферу, натура Пушкина сохранила въ себѣ живую струю народной, широкой и общей жизни, способность и понимать эту живую жизнь, и глубоко ей сочувствовать и временами даже съ нею отождествляться.

Но натура Пушкина была натура по преимуществу синтетическая, одаренная непосредственностью пониманія и цѣлостностью захвата. Ни въ какую крайность, ни въ какую односторонность не впадалъ онъ. Равно удивителенъ онъ и въ тонѣ Бѣлкина, и въ тонѣ своихъ поэмъ, и въ сухомъ свѣтскомъ тонѣ «Пиковой дамы».

Натура же героя «Дѣтства, Отрочества и Юности» по преимуществу аналитическая. Анализъ развивается въ немъ равно и подкапывается глубоко подъ основы всего того условнаго, чѣмъ онъ

окужонъ, того условнаго, что въ немъ самомъ. Доходя до явленій ему неподдающихся, онъ передъ ними останавливается. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи въ высокой степени замѣчательны главы о нянѣ, о любви Маши къ Василью и въ особенности глава о юродивомъ, въ которой сталкивается онъ съ явленіемъ, которое и въ самой народной простой жизни составляетъ нѣчто рѣдкое, исключительное, эксцентрическое. Всѣ эти явленія анализъ противопоставляетъ всему условному, его окружающему, въ которомъ цѣлѣтъ нетронутымъ одинъ только святой образъ, — образъ матери, нѣжно, любовно и граціозно нарисованный образъ. Ко всему другому анализъ безпощаденъ. И понятно: передъ нимъ уже стоятъ несокрушимою стѣною, о которую онъ разбился, инныя, противоположныя, совершенно безыскусственныя явленія иной, не условной, а непосредственной жизни.

Онъ пораженъ простотою, неразложимостью этихъ явленій. И вотъ простоты, неразложимости добивается онъ отъ самого себя, роется терпѣливо и безпощадно-строго въ каждомъ собственномъ чувствѣ, даже въ самомъ томъ, которое по виду кажется совершенно святымъ (глава «Исповѣдь»), уличаетъ каждое свое чувство во всемъ, что въ чувствѣ сдѣлано, даже напередъ, — велѣтъ каждую мысль, каждую дѣтскую или отроческую мечту до ея крайнихъ граней. Вспомните напримѣръ мечты героя «Отрочества», когда его заперли въ темную комнату за непослушаніе гувернеру.

Анализъ въ своей безпощадности заставляетъ душу признаваться самой себѣ въ томъ, въ чемъ не всякая душа себѣ признается, въ томъ, въ чемъ стыдно себѣ самому признаться. Мудрено ли, что при огромномъ талантѣ, анализъ изощрился до того, что въ «Мятели» способенъ влѣзть въ существо воробья, который «притворился, что клюнулъ»; въ «Военныхъ разсказахъ» развѣртываетъ цѣлую ткань пустыхъ представленій, промелькнувшихъ передъ человѣкомъ въ минуту смерти, до поражающей, несомнѣнной правды.

Таже безпощадность анализа руководитъ героя и въ «Юности». Поддаваясь своей условной сферѣ, принимая даже ея предразсудки, онъ постоянно казнить самого себя и изъ этой казни выходить побѣдителемъ. Многіе находили растянутую первую половину «Юности». Это неправда. Волоковы, Нехлюдовы, князь должны были быть изображены съ такою мелочною подробностью, чтобы паразитѣйшій вышелъ столкновеніе героя съ слоями иной жизни, съ даровитыми, хотя безумно кутящими личностями, полными силъ и высокихъ, безусловныхъ стремленій.

Столкновеніемъ съ этимъ живымъ міромъ кончается повидимому процессъ. Но только повидимому. Слѣдить его можно и даже дол-

жно въ «Восниныхъ расказахъ» — въ расказѣ: «Встрѣча въ отрядѣ», въ «Двухъ гусарахъ». Анализъ продолжаетъ свое дѣло. Останавливаясь передъ всѣмъ, что ему не поддается, и переходя тутъ — то въ пафосъ передъ всѣмъ громадно-грандіознымъ, какъ севастопольская эпопея, то въ изумленіе передъ всѣмъ простымъ и смиренно-великимъ, какъ смерть Велечука или капитанъ Храбровъ, онъ безпощаденъ ко всему искусственному и слѣланному, является ли оно въ буржуазномъ штабсъ-капитанѣ Михайловѣ, въ кавказскомъ ли героѣ à la Марлинскій, въ совершенно ли ломаной личности юнкера въ расказѣ: «Встрѣча въ отрядѣ». Одинъ только типъ остается нетронутымъ, неподвергнутымъ сомнѣнію — типъ простого и смирнаго человѣка.

Между тѣмъ въ «Двухъ гусарахъ» авторъ видимо увлекается старымъ гусаромъ съ его энергическимъ буйствомъ и размашистой удаляю, въ противоположность гусару новыхъ временъ съ его мелочностью и пошлостью; между тѣмъ въ «Албертѣ» онъ явнымъ образомъ поэтизируетъ силу и страстность, хотя пропадающія въ неизлечимомъ безпутствѣ.

Толстой — поэтъ, поэтъ точно также какъ Тургеневъ. Отрицаніе всѣхъ «приподнятыхъ» чувствъ души не ведетъ его ни къ мѣщанскому прозаизму Писемскаго, ни къ бюрократической практичности Гончарова. Всего же менѣе ведетъ его анализъ къ утилитаризму. На утилитаризмъ отвѣчаетъ онъ своимъ «Люцерномъ», въ которомъ плачетъ о погибающемъ мірѣ искусства, страстей, исторіи, — «Люцерномъ», который неожиданно поразилъ всѣхъ въ эпоху своего появленія, хотя поражаться тутъ было нечѣмъ. Чего же хотѣли отъ Толстого?..

Прежде всего и паче всего — онъ поэтъ. «Приподнятыя» чувства души человѣческой онъ казнилъ только тамъ, гдѣ они напряженно, насильственно приподняты, тамъ однимъ словомъ, гдѣ лягушка раздувается въ вола, — иногда впадая только въ крайности, какъ въ предпочтеніи глубокаго горя старухи-няни горю старухи-графини, какъ въ изображеніи кавказскаго героя, который дѣйствительно герой, и герой нисколько не меньше *смирнаго* капитана Храброва, только герой своей эпохи, эпохи Марлинскаго.

Въ сущности поэтъ нашъ только скорбитъ о томъ, что не находитъ настоящихъ «приподнятыхъ» чувствъ въ той сферѣ, которую онъ знаетъ, но не можетъ отречься отъ ихъ исканія... Въ сферѣ же иной, въ простой народной сферѣ, ему доступны и понятны вполне только смиренные типы... Да иначе и быть нельзя. Только непосредственно сжившись съ народною жизнью, нося ее въ душѣ, какъ Островскій, Кольцовъ и отчасти Некрасовъ, или спустив-

пиль въ подземную глубину «Мертваго дома», какъ О. Достоевскій, можно узаконить равно два типа — и типъ страстный, и типъ смпрный. Пушкинъ понималъ это синтезомъ — и синтезомъ создалъ «Русалку» и Пугачева въ «Капитанской дочкѣ», и старика Дубровскаго. Тургеневъ глубокимъ сочувствіемъ къ народу доходилъ иногда до того, что страстный типъ иногда являлся ему въ совершенно своеобразныхъ формахъ даже посреди такъ-называемаго цивилизованнаго общества (Веретьевъ, Коротаевъ, Чартаухановъ), болшею же частью облакалъ его въ условныя формы или въ формы историческія (Василій Лачиновъ). Толстого эти формы не удовлетворяли и онъ постоянно подкапывался подъ нихъ какъ подъ всякія формы.

Доходя въ нѣкыя минуты до отчаянія анализа и оставивши слѣдъ этого отчаянія въ образѣ князя Нехлюдова («Записки маркера» и «Люцернъ»), утомленный работою анализа, Толстой, по натурѣ художникъ, рѣшилъ хоть разъ успокоиться въ разрѣшеніи психической задачи менѣе широкой — и далъ намъ «Семейное счастье». О достоинствахъ этого тихаго, глубокаго, простаго и высоко-поэтическаго произведенія, съ его отсутствіемъ всякой эффектности, съ его прямымъ и неломанымъ поставленіемъ вопроса о переходѣ чувства страсти въ иное чувство, пришлось бы писать еще цѣлую статью, еслибы статьи чисто-эстетическія были возможны, т. е. читаемы въ настоящую, напряженную минуту.

Задача моя была — по возможности опредѣлить смыслъ явленія столь замѣчательнаго какъ Толстой.

2338

А. ГРИГОРЬЕВЪ

ДВА СЛОВА О ДВУХЪ СТАТЬЯХЪ

«Зимній вечеръ въ бурѣ» Н. Помяловскаго, «Время», май 1862 г.

«Родныя картины» Е. Стопакевича, «Современникъ», май 1862 г.

«Нѣтъ въ мірѣ картины ужаснѣе!.. Это вѣчные похороны чувства, разума, жизни!..»

Тяжелое и безотрадное впечатлѣніе ложится на душу при чтеніи этихъ статей. Трудно вѣрить, чтобъ могли быть такіе люди гдѣ-нибудь даже въ самыхъ отдаленныхъ захолустьяхъ нашего отечества. Это какой-то отчужденный домъ. И въ этомъ-то домѣ живутъ люди, изъ которыхъ современемъ должны выйти пастыри народа, руководители и наставники его на пути истины и нравственности! Какъ же они при такой обстановкѣ достигнуть своего назначенія? Имъ нужно знать свѣтъ и людей, съ которыми будутъ имѣть дѣло, а они, ограниченные инструкціею, сидятъ въ четырехъ стѣнахъ, гдѣ ничего не увидятъ кромѣ грязныхъ и отвратительныхъ шалостей записныхъ бурсаковъ, ошельмованныхъ дикими прозвищами: *Митахи, Тавли, Чабри, Хоря* и т. п. Имъ придется встрѣтиться въ будущемъ своемъ служеніи обществу съ людьми различнаго направленія, различной нравственности, и всѣ эти люди будутъ искать у нихъ, какъ своихъ пастырей, назиданія, разрѣшенія своихъ сомнѣній, ободренія въ несчастіи, защиты отъ неправды. Что имъ скажетъ пастырь, когда и самъ онъ не въ состояніи будетъ осмыслить своего положенія, не въ состояніи понять чужихъ нуждъ и наконецъ не въ состояніи сказать здравого слова, постоянно будучи занятъ въ школѣ бесплодными диспутами на разныя темы,вродѣ: что такое сущность? спасется ли Сократъ и т. п.?

